

# Скотт Джеймс. Анархия? Нет, но да!

2012, источник: [здесь](#). Шесть вольных заметок об автономии, достоинстве, осмысленном труде и забаве.

«Анархия — это утопия», «Люди не будут ничего делать сообща, если их не заставлять», «Без государства не проживешь», «Анархия значит хаос». Книга американского профессора-антрополога Джеймса Скотта состоит из кратких очерков, которые на реальных примерах развенчивают эти и другие мифы.

- [Предисловие](#)
- [Глава 1. Использование беспорядка и «харизмы»](#)
- [Глава 2. Народный и официальный порядок](#)
- [Глава 3. Человеческое производство](#)
- [Глава 4. Да здравствует мелкая буржуазия!](#)
- [Глава 5. В защиту политики](#)
- [Глава 6. Отличия и изменчивость](#)
- [Примечания](#)

# Предисловие

Доводы, приведенные в этом сочинении, вызревали на протяжении всего того долгого времени, пока ваш покорный слуга писал статьи о крестьянах, об их классовых конфликтах и борьбе, об их сопротивлении, о проектах по их развитию, а также о малочисленных народах, живущих в горах Юго-Восточной Азии. На протяжении тридцати лет, сказав что-либо на занятии или написав нечто, я то и дело ловил себя на мысли: «Хм, а звучит-то по-анархистски!» В геометрии для построения прямой достаточно двух точек, но если на этой же прямой внезапно оказываются третья, четвёртая и пятая точки, игнорировать такие совпадения невозможно.

Устав удивляться этим совпадениям, я решил, что настало время изучить классиков анархизма и погрузиться в историю анархических движений. С этой целью я прочел объемный курс лекций, стремясь узнать об анархизме нечто новое и, возможно, понять своё собственное отношение к нему. Результат моих размышлений, дожидавшийся публикации целых двадцать лет после того, как лекции были прочитаны, перед вами.

Я заинтересовался анархистской критикой государства, потому что потерял всякую надежду на революционные изменения. Это обычно и чувствовали люди, политическое сознание которых сформировалось в Северной Америке 1960-х годов. Для меня и для многих других эта эпоха стала кульминацией того, что можно назвать влюблённостью в крестьянские народно-освободительные войны.

На некоторое время меня полностью захватили эти утопические грезы. Я трепетно и, как теперь ясно, наивно наблюдал за референдумом о независимости Гвинеи при Ахмеде Секу Туре, за panaфриканскими инициативами президента Ганы Кваме Нкрумы, за первыми выборами в Индонезии, за обретением независимости Бирмой (нынче Мьянма) и первыми выборами в этой стране, где я провёл год, и, конечно же, за земельными реформами в революционном Китае и общенациональными выборами в Индии.

Разочарование было порождено двумя процессами: изучением прошлого и наблюдением за тем, что происходит в настоящем. Мне внезапно открылось (странно, что я не понял этого раньше), что практически любая масштабная и успешная революция заканчивалась созданием государства, куда более могущественного, чем то, которое она разрушила, и способного отныне выжимать из народа, которому должно было служить, гораздо больше и контролировать его намного жестче. Критика, которой анархисты подвергали Маркса и особенно Ленина, оказалась в этом случае провидческой. Французская революция привела к Термидорианской реакции, а затем к незрелой и воинственной Наполеоновской империи. Результатом Октябрьской революции в России стала диктатура Ленина и партии большевиков, которая превратилась впоследствии в репрессии бастующих матросов и рабочих (пролетариата!) в Кронштадте, коллективизацию и ГУЛАГ. Без сомнений, *ancien régime* (королевская власть в дореволюционной Франции — прим. пер.) в условиях

феодалного неравенства правил изуверски, но и история революций являет собой картину неутешительную. Чаяния народа, в которых он черпал необходимые для победы революции силу и мужество, как показала история, наверняка были обмануты.

Происходящее в наши дни внушало тревогу ничуть не меньшую, особенно если принять во внимание, как современные революции влияли на самый многочисленный класс в мировой истории — крестьянство. Вьетминь, партия, правившая в северной части Вьетнама согласно Женевским соглашениям 1954 года, безжалостно подавила народное восстание мелких землевладельцев в тех же районах, которые исторически были очагами крестьянского радикализма. Стало ясно, что Большой Скачок в Китае, во время которого Мао заставил замолчать своих критиков и принудил миллионы крестьян вступить в крупные аграрные коммуны и питаться из одного котла, привёл к катастрофическим последствиям. Учёные и статистики до сих пор спорят о числе жертв этой политики за период 1958–1962 годов, но вряд ли оно будет меньше 35 миллионов человек. Не успели историки подсчитать жертв Большого Скачка, как пришли страшные новости о голоде и массовых казнях в Кампучии, в которой к власти пришли красные кхмеры. Это довершило картину крестьянских революций, так и не достигших поставленных целей.

Политику Запада в отношении бедных стран в годы холодной войны тоже нельзя было рассматривать как наглядную альтернативу «реально существующему социализму». Режимы и государства, правившие железной рукой в условиях жесточайшего неравенства, приветствовались в качестве союзников по борьбе против коммунизма. Те, кто знаком с этим периодом, вспомнят, что тогда только начался первый этап исследований в области развития и появился новый раздел экономики — экономика развития. Революционные элиты придумывали грандиозные проекты построения общества в духе коллективизма, а ученые тем временем пытались убедить всех в возможности достичь экономического роста через насильственное насаждение форм собственности, инвестиции в инфраструктуру, развитие товарного растениеводства и земельного рынка — всего, что по большей части и приводит к усилению государственного контроля и увеличению неравенства. «Свободный мир», особенно на Глобальном Юге, оказался уязвимым как для социалистической критики капиталистического неравенства, так и для коммунистической и анархистской критики государства как гаранта этого неравенства.

Моё двойное разочарование блестяще иллюстрирует высказывание Михаила Бакунина: «Свобода без социализма — привилегия, несправедливость, социализм без свободы — рабство и скотство».

Несмотря на отсутствие цельного анархистского мировоззрения и весьма скептическое отношение к формализованным взглядам на мир, я попробую высказаться в пользу того, что я бы назвал анархическим уклоном. Я хочу продемонстрировать, что взгляд на историю народных движений и революций, политическую рутину и государство сквозь призму анархизма позволяет созерцать то, что невозможно увидеть ни с какой другой стороны. Нам также станет понятно, что анархические принципы прослеживаются в устремлениях и политической деятельности даже тех, кто никогда не слышал об анархизме или анархической философии. Предполагаю, что мы поймем, что имел в виду Пьер-Жозеф Прудон, когда он впервые использовал термин «анархизм», то есть управление во

взаимодействии или сотрудничестве без иерархии и государства. Также мы увидим, что анархисты снисходительны к суете и внезапности, без которых немислимы социальные учения, и убеждены в важности ситуативного сотрудничества и обоюдных уступок. Доказательством может послужить то, что мудрым решениям малочисленных представителей партийных элит Роза Люксембург в течение долгого времени предпочитала наивные ошибки рабочего класса. Итак, я собираюсь доказать, что сквозь призму анархизма видно лучше и дальше, чем через большинство иных объективов — ни больше ни меньше.

Убедившись в том, что я сторонник «процессо-ориентированного» анархистского взгляда, иначе называемого практическим анархизмом, читатель может задать резонный вопрос: исходя из обилия существующих ныне разновидностей анархизма, сквозь какую из линз я собираюсь смотреть?

Отстаивать свою анархическую позицию я собираюсь посредством политики конфликтов и дискуссий, а также постоянной неопределённости и необходимости учиться, к которым они вынуждают. Это значит, что я отрицаю основной поток утопического сциентизма, превалировавший в анархистской мысли на рубеже XIX-XX вв. Учитывая гигантские достижения в области промышленности, химии, медицины, строительства и транспорта, не приходится удивляться оптимистичной вере правых и левых в то, что проблема дефицита в принципе решена. Многие люди верили, что научный прогресс постиг законы природы, а значит, и способы на научной основе решить проблему выживания, организации общества и социального устройства. По мере того, как люди, обретая больше знаний, становились всё более и более рациональными, наука объясняла, как следует жить, и в конце концов это привело бы к тому, что политика оказалась бы не нужна. О мире будущего, в котором просвещённые специалисты правят сообразно принципам науки, а «управление» заменит политику, писали мыслители кардинально различающихся взглядов — граф де Сен-Симон, Милль, Маркс и Ленин. Последний рассматривал замечательную тотальную мобилизацию германской экономики в годы Первой мировой войны в качестве образца безукоризненно работающей машины социалистического будущего — стоило лишь убрать немецких милитаристов от руля государства, заменив их партией передового пролетариата, и управление ресурсами сделало бы политику ненужной. В глазах многих анархистов такое же понимание прогресса указывало на возможность экономики, при которой государство становилось ненужным. Однако с тех пор мы узнали, что материальное изобилие не только не вытесняет политику, а наоборот, создает новые сферы политической борьбы, но и то, что государственный социализм был не столько «управлением ресурсами», сколько профсоюзным объединением правящего класса, защищающего свои привилегии.

В отличие от многих анархистских мыслителей, я не верю, что государство везде и всегда выступает в качестве врага свободы. Чтобы понять, что в некоторых обстоятельствах государство может играть освободительную роль, достаточно вспомнить, как в 1957 году в Литл-Рок, штат Арканзас, национальная гвардия США сопровождала идущих в школу чернокожих детей, защищая их от толпы разъярённых белых. Мне думается, что и эта возможность появилась лишь в эпоху Великой Французской революции вследствие появления понятия о демократическом гражданстве и всеобщем избирательном праве, которое позднее было распространено на женщин, рабов и представителей меньшинств. Это значит, что за почти пять тысяч лет существования государства как явления какая-то

вероятность того, что оно может хотя бы изредка способствовать человеческой свободе, возникла только в последние два столетия. Но, как мне кажется, условия, при которых реализуется такой сценарий, наступают только в случае, когда стихийные выступления народа угрожают целостности всей политической системы. И даже это достижение чревато издержками: например, во время Французской революции государство получило прямой и непосредственный доступ к гражданину, что привело ко всеобщей воинской повинности и охваченной войной стране.

Не верю я и в то, что государство — это единственный институт, угрожающий свободе. Утверждать такое означало бы закрыть глаза на предшествовавшие возникновению государства рабство, женское бесправие, войны и захватнические набеги. Одно дело в корне не соглашаться с Гоббсом в том, что жизнь людей и общества до появления государства была отвратительной, жестокой и короткой, и совсем другое — верить в то, что «природным состоянием» общества был нетронутый ландшафт общинной собственности, сотрудничества и мира.

Последнее течение анархистской мысли, с которым я определённо не хочу иметь ничего общего, — некий подвид либертарианства, который терпимо или даже благосклонно относится к диспропорциям в богатстве, собственности и статусе. Свобода и демократия в условиях вызывающего неравенства — это, по Бакунину, жестокий обман. Не может быть истинной свободы там, где громадные различия превращают соглашения или обмен в узаконенный грабёж. В качестве примера возьмём Китай образца межвоенного периода, когда войны и голод буквально косили людей. Многие женщины стояли перед ужасным выбором: умереть от истощения или продать своих детей и выжить?

Для рыночного фундаменталиста продажа ребёнка — дело, в общем-то, добровольное, следовательно, является свободным выбором человека, а потому такой договор купли-продажи будет вполне законен. Безусловно, логика просто чудовищна: ведь именно безвыходность ситуации и ставила людей перед гибельным выбором.

Я привёл провокационный пример, но подобные случаи не так уж и редки даже в наши дни. Достаточно вспомнить о международной торговле органами и детьми. Вообразите себе замедленную съёмку: в кадре наша планета, на которой изображены пути перемещения по всему миру почек, роговых оболочек глаза, сердец, костного мозга, лёгких и младенцев. Эти «товары», все без исключения, перемещаются от беднейших слоёв населения самых бедных стран мира к самым привилегированным жителям богатейших стран, расположенный в основном в Северной Атлантике. Сатирический памфлет Джонатана Свифта «Скромное предложение» был не так уж далёк от реальности. Можно ли сомневаться, что эта торговля является следствием громадного и насильственного по своей сути неравенства жизненных возможностей разных жителей планеты — неравенства, получившего совершенно справедливое, на мой взгляд, название «структурное насилие»?

Смысл в том, что громадное различие в благосостоянии, имущественном и ином статусе делает свободу насмешкой. Концентрация богатства и власти в руках немногих в США за последние сорок лет (позднее этому примеру последовали многие государства на Глобальном Юге, придерживающиеся неолиберальной политики) создала ситуацию,

предсказанную анархистами. Накапливающееся неравенство доступа к политическому влиянию в силу простого экономического преимущества, огромные, сравнимые с государствами олигополии, контроль над СМИ, финансирование избирательного процесса, лоббирование законодательства (вплоть до вставки в него нужных лазеек), пересмотр границ избирательных участков, возможность нанимать лучших юристов и тому подобное привели к тому, что выборы и законы служат в основном для усиления этой диспропорции и ее укрепления. Трудно понять, каким образом существующие институты могут уменьшить это подпитываемое само собой неравенство, особенно если учесть, что начавшийся в 2008 году очередной капиталистический кризис не привёл ни к чему, что было бы похоже на «новый курс» Рузвельта. Демократические институты сами в большой степени стали товаром, и тот, кто больше заплатит, тот и сможет их купить.

Рынок измеряет влияние в долларах. Демократия в принципе подсчитывает голоса. На практике же при определённом уровне неравенства доллары начинают влиять на голосование и определять его. Умные люди могут спорить о том, при каком уровне неравенства демократия всё ещё не превращается в фарс, но, по-моему, мы уже давно живём в эпоху некой фарсократии. Всякому, кроме рыночных фундаменталистов (вроде тех, кто считает этически оправданным продажу человеком самого себя в рабство, разумеется, на добровольных началах), ясно, что демократия без относительного равенства — это жестокий обман. Конечно же, это вызывает у анархистов некоторое затруднение: если такое равенство — необходимое условие взаимодействия и свободы, как возможно его гарантировать в отсутствие государства? В здравом размышлении над этой загадкой я понял, что и теоретически, и практически уничтожение государства — не выход. К сожалению, мы вынуждены жить с этим Левиафаном, хотя и не по тем причинам, по которым так считал Гоббс, и наша задача — приручить его. Хотя это вряд ли будет нам под силу.

Анархизм способен быть весьма показательной моделью, демонстрирующей, как на самом деле происходят политические изменения, будь то реформы или даже революции, как понять, что относится к «политическим вопросам», и наконец, как вообще следует изучать политику.

Вопреки расхожему мнению, организации обычно не способствуют росту протестных движений. Напротив, это протесты становятся катализатором укрепления организаций, которые в свою очередь обычно пытаются укротить протест и перевести его на институциональные рельсы. В случае протестов, угрожающих самому существованию системы, формальные организации скорее препятствуют, чем способствуют им.

Институты, которые предназначены для того, чтобы избегать массовых волнений и приводить к мирным и упорядоченным изменениям в законодательстве, в целом не справляются с этой задачей — и в этом состоит великий парадокс демократических изменений, совершенно неудивительный с точки зрения анархизма. В немалой степени это связано с косностью государственных институтов и их служением интересам правящей верхушки, в чем они не отличаются от подавляющего большинства прочих формальных организаций, представляющих интересы общества. Господствующие классы держат государственную власть и институты мертвой хваткой.

Поэтому глобальные перемены происходят редко и, как правило, в случае массовых волнений стихийного характера — протестов, захватов собственности, волнений, грабежей, поджогов и открытого неповиновения властям, угрожающих официальным структурам. Такие выступления практически никогда не поощряются и тем более не иницируются даже левыми организациями, ведь те по своей природе склонны к законопослушным требованиям, демонстрациям и забастовкам, которые обычно можно удержать в рамках существующих институтов. Оппозиционные организации, у которых есть официальные названия, должностные лица, уставы, символика и свои собственные управленческие процедуры, естественно, предпочитают организованные конфликты, в которых они мастера [1].

Фрэнсис Фокс Пивен и Ричард Кловард убедительно доказали [2], что и во время Великой депрессии в Соединённых Штатах и протестов безработных и рабочих в 1930-е годы, и в эпоху движения за гражданские права, и протестов против войны во Вьетнаме, и борьбы за социальное обеспечение успешны были лишь крайне агрессивные, самые насильственные, наименее организованные и иерархичные действия. В стремлении предотвратить распространение внесистемного вызова существующему порядку власти были готовы идти на уступки. В таких случаях у протестующих не было лидеров, с которыми можно было бы заключить сделку — никого, кто пообещал бы убрать людей с улиц в обмен на снисходительность власти. Именно из-за того, что массовое неповиновение угрожает установленному порядку, оно и порождает организации, которые стремятся увести это повиновение в русло нормальной политики, чтобы сдержать его. В таких случаях властные элиты обращаются к организациям, которые они обычно презирают — примером тому договорённость 1968 года между французским премьер-министром Жоржем Помпиду и Французской коммунистической партией (признанным «политическим игроком») об огромных уступках по заработной плате, на которую власти пошли, чтобы отрезать верных партийцев от бунтующих студентов и неуправляемых забастовщиков.

Беспорядки порой принимают причудливые формы, и кажется, что правильным было бы различать их по степени их выраженности и уровню притязаний на моральное превосходство. Так, волнения, направленные на реализацию или расширение демократических свобод — освобождение ли рабов, избирательное ли право для женщин или прекращение расовой сегрегации — ясно заявляют о своём превосходстве. А что можно сказать о массовых беспорядках, цель которых — добиться 8-часового рабочего дня, или вывода войск из Вьетнама, или ещё более абстрактный протест против неолиберальной глобализации? Здесь цели также достаточно ясны, но моральное превосходство протестующих представляется куда более спорным. И пусть некоторым может прийти не по вкусу стратегия «чёрного блока» во время «побоища в Сиэтле» (митинг у Всемирной торговой организации в 1999 году), когда били витрины и завязывали потасовки с полицией, но нет никаких сомнений в том, что без внимания прессы, которое отчасти намеренно привлекли эти бесчинства, широкое движение против глобализации, ВТО, Международного валютного фонда и Всемирного Банка осталось бы практически незамеченным.

Самый трудный случай, который всё чаще встречается среди маргинализированных сообществ — это всеобщий бунт, часто сопровождающийся мародёрством и представляющий собой скорее нечленораздельный вопль гнева и отчуждения, который не

выдвигает никаких связанных требований или заявлений. Именно из-за своей бессвязности и зарождения в наименее организованных слоях общества такой бунт выглядит наиболее опасным: протестующие не выдвигают никаких требований, которые можно было бы удовлетворить, и среди них нет очевидных лидеров, с которыми можно было бы вести переговоры. Правящим элитам приходится лихорадочно искать путь решения. В конце лета 2011 года во время городских беспорядков в Великобритании первой реакцией консерваторов были репрессии и упрощённое судопроизводство. В то же время лейбористы настойчиво предлагали ответить на беспорядки социальными реформами, улучшением экономического положения и избирательным наказанием. Однако невозможно отрицать, что эти беспорядки вне зависимости от конечного результата привлекли, наконец, внимание элит — без него большинство проблем, которыми они были вызваны, не стали бы достоянием общественности.

Здесь мы опять сталкиваемся с дилеммой. Массовые беспорядки и неповиновение при определённых условиях вместо реформ и революции могут привести прямо к авторитаризму или фашизму. Такая опасность всегда присутствует, но это не отменяет того, что внесистемный протест, по всей видимости, является необходимым, хотя и недостаточным условием значительных прогрессивных структурных изменений, таких, как «новый курс» или завоевание гражданских прав чернокожим населением.

При всём том, что большая часть реально заслуживающих внимания политических событий имела и имеет форму необузданного неповиновения, для поработённых классов на протяжении почти всей истории политика принимала очень своеобразную внесистемную форму. Напрасно мы будем искать у крестьян и в большинстве случаев у рабочего класса в ранний период его истории какие-либо формальные организации и публичные проявления несогласия. В этом случае мы имеем дело с тем, что я называю «инфраполитикой», потому что она осуществляется за пределами видимого спектра того, что обычно считается политической деятельностью. Государство исторически препятствовало самоорганизации низших классов, не говоря уже о публичном неповиновении. Для подчинённых групп такая политика опасна. Они, как и партизаны, в большей или меньшей степени смогли понять, что расправы помогают избежать рассредоточенность и малое число участников.

Говоря об инфраполитике, я имею в виду такие действия, как «итальянская забастовка», нарочито медленное выполнение работы, браконьерство, мелкое воровство, симуляция, саботаж, дезертирство, прогулы, захват пустующих зданий и бегство. Зачем рисковать жизнью в случае провала мятежа, если достаточно дезертировать? Зачем рисковать, открыто захватывая землю, когда можно сделать это тайком и фактически получить права на нее? Зачем открыто бороться за право доступа к лесным, рыбным и охотничьим ресурсам, когда можно просто тихо заняться браконьерством и добиться тех же результатов? Во многих случаях такие формы фактической самопомощи процветают, подпитываясь устоявшимся коллективным мнением относительно призыва в армию, несправедливости войн и прав собственности на землю и природные ресурсы, о котором лучше помалкивать. И вместе с тем накопление тысяч или даже миллионов таких малозначительных актов может оказать громадное влияние на результаты войны, права на землю, сбор налогов и имущественные отношения. Сквозь сеть с крупными ячейками, которую политологи и большинство историков используют для поимки симптомов политической деятельности,



свободно прошло и проходит большинство подчинённых классов, исторически не имевших возможности открыто создавать политические организации и участвовать в их деятельности, что не мешало им потихоньку и всем вместе изменять политику снизу. Как давно заметил Милован Джилас, «медленная и непродуктивная работа миллионов незаинтересованных рабочих, вкупе с запретом на всякую работу, которая не считается “социалистической” — это неучтённая, невидимая и колоссальная потеря, которой не избежал ни один коммунистический режим» [3]. Кто сможет сказать наверняка, какую роль подобные проявления незаинтересованности (хорошо проиллюстрированные известным высказыванием «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят») сыграли в столь долгой устойчивости экономик советского блока?

Неформальное сотрудничество, согласованность и взаимопомощь без иерархии — вот повседневная реальность большинства людей, которая вступает в скрытое или явное противоречие с законами и институтами государства лишь изредка. Большинство сельских и городских общин функционируют именно благодаря неформальным и изменчивым взаимосвязям, не требующим формальной организации, не говоря уж об иерархии. Иными словами, опыт анархической взаимности можно получить повсеместно. По словам Колина Уорда, «анархия — это не отвлечённое видение общества будущего; это описание повседневного человеческого опыта, который осуществляется одновременно и вопреки господствующим авторитарным течениям нашего общества» [4].

Серьезный вопрос, на который у меня нет конкретного ответа, состоит в следующем: не истощило ли многовековое существование государств, их власть и влияние способности людей и общин к независимости и самоорганизации? Многие из функций, которые люди раньше выполняли сообща, координируя свои действия неформально, теперь организуются и контролируются государством. Как, предвосхищая Фуко, однажды сказал Прудон, «...управляться — значит быть всё время под присмотром, контролем, наблюдением, внушением, пропагандой и цензурой, выслушивая приказы существ, не обладающих ни знанием, ни добродетелью. Управляться — значит на каждом шагу, при всяком поступке и в любой деятельности подвергаться учёту, подсчёту, оценке, порицанию, запретам, внесению в списки, определению стоимости, переделкам и правкам» [5].

Насколько же гегемония государства и формальных иерархий нарушила устоявшуюся практику сотрудничества и взаимодействия, исторически обеспечивавшую порядок в отсутствие государства? В какой степени всевозрастающему влиянию государства и предпосылкам деятельности в рамках либеральной экономики на самом деле удалось породить тех асоциальных эгоистов, которых, по мнению Гоббса, государство было призвано укротить? Можно сказать, что формальное устройство либерального государства в основе своей зависит от навыков взаимодействия и сотрудничества — социального капитала, который ему предшествует, который оно создать не может и который оно на самом деле подрывает. Возможно, государство подавляет естественную инициативу и ответственность, рождаемые добровольным сотрудничеством. Более того, упор неолибералов на индивидуальную успешность в ущерб обществу, на частную собственность вместо общественной собственности, на отношение к земле (природе) и труду (рабочему времени людей) как к товарам на рынке, а также их стремление всё выразить в деньгах, например, в анализе прибыли и затрат (скрытые издержки как способ оценить в денежном

эквиваленте вид на закат или иной прекрасный вид, который новое строительство скроет от глаз жителей) способствует воспитанию в людях расчётливости, напоминающей социал-дарвинизм.

Я предполагаю, что два столетия сильной государственной власти и господства либеральной экономики воспитали нас таким образом, что мы практически полностью забыли навыки взаимовыручки и теперь можем превратиться в тех самых опасных хищников, которые, по мнению Гоббса, населяли человеческое общество до того, как возникли государства. Выходит, Левиафан породил то, против чего он должен был бороться.

Склонность анархистов-теоретиков верить в народ, в возможность его самостоятельности, самоорганизации и сотрудничества означала прежде всего признание политическими мыслителями самих крестьян, ремесленников и рабочих. У них были свои собственные цели, ценности и дела, и если какая-то политическая система пренебрегала ими, то тем хуже было для неё. Такого базового уважения к самостоятельной деятельности тех, кто не относился к элитам, не хватало не только государствам, но также и прикладным общественным наукам. Приписывать элитам определённые ценности, понимание истории, эстетические вкусы, даже зачатки собственной политической философии — обычное дело. В противоположность этому, политический анализ тех, кто не входит в число элит, часто проводится как бы за их спиной. Предполагается, что их «политические взгляды» зависят от статистических «критериев», как то: дохода, занятости, времени, потраченного на образование, имущественного статуса, места жительства, расовой и национальной принадлежности, а также религии.

Большинство учёных, работающих в сфере социальных наук, никогда не стали бы считать такую методику даже отдалённо подходящей для изучения элит. Удивительно, насколько такая методика похожа как на подход государства, так и на левый авторитаризм, где к обществу, не входящему в элиту, и «народным массам» относятся как к слепокм социоэкономических характеристик, чьи потребности и мировоззрение понимаются как результат векторов входящих калорий, денег, рабочих будней, обычно потребляемых продуктов и электоральных предпочтений минувшего. Дело не в том, что эти факторы нерелевантны — высокомерие, претендующее на понимание действий людей, которым не дали высказаться, которых не выслушали и не поняли, как они сами объясняют свои действия, недопустимо ни с моральной, ни с научной точки зрения. Опять-таки, это не значит, что в таких объяснениях легко разобраться или что в них нет важных упущений и тайных мотивов — разобраться в них ничуть не легче, чем в объяснениях, которые своим действиям дают представители элит.

Задача социальных наук, по моему мнению, состоит в том, чтобы найти наиболее приемлемое объяснение поведению людей на основе всех имеющихся доказательств, включая сюда и объяснение действий тех, чьё поведение изучается, причем с их собственных слов. Представление, будто бы восприятие ситуации самим субъектом не имеет отношения к этой ситуации, абсурдно: достоверно знать о ситуации, в которой находится данный субъект, невозможно. Лучше всех о феноменологии человеческих поступков сказал Джон Данн: «Если мы желаем понять других людей и пытаемся утверждать, что мы на самом деле понимаем их, не слушать того, что они говорят,

безрассудно и жестоко... Чего мы не можем утверждать, так это того, будто мы понимаем его [субъекта] или его действия лучше, чем он сам, если мы не в силах внять его собственному пониманию себя и своих поступков» [6]. Вести себя иначе означает совершить научное преступление, прячась за спинами исторических деятелей.

Я использую в главах термин «фрагменты» в значении «подразделы» для того, чтобы предупредить читателя, чего ему не стоит ожидать. Слово «фрагменты» употреблено мной, чтобы подчеркнуть фрагментарность этих очерков. Эти фрагменты — не черепки некогда целого сосуда, который упал на землю и разбился, и не кусочки паззла, из которых можно собрать ту же самую вазу или картину. К сожалению, у меня нет тщательно отшлифованных аргументов в пользу анархизма, которые образовывали бы лишенную внутренних противоречий политическую философию, основанную на базовых ее принципах, и которую можно было бы уподобить работам князя Кропоткина или Исая Берлина, не говоря уж о Джоне Локке или Карле Марксе. Если для того, чтобы называть себя анархистским мыслителем, нужно обладать таким уровнем идеологической подготовки, то я однозначно недостойн этого. Всё, что я могу предложить, — это набор размышлений, которые, на мой взгляд, означают моё согласие с большей частью того, что мыслители-анархисты говорят в отношении государства, революции и равенства.

Не является эта книга и попыткой исследования анархистских движений или работ анархистских мыслителей, хотя это было бы весьма познавательным делом. Увы, читатель не найдёт в ней подробного анализа мыслей Прудона, Бакунина, Малатесты, Сисмонди, Толстого, Роккера, де Токвиля или Ландауэра, хотя я и сверялся с произведениями большинства теоретиков анархии. Нет в этой книге и рассказов об анархических или квазианархических движениях, таких, например, как «Солидарность» в Польше, или анархистах во время гражданской войны в Испании, или рабочих-анархистах в Аргентине, Италии и Франции, хотя я и старался прочесть как можно больше о «реально существующем анархизме», как и об основных теоретиках этого движения.

У слова «фрагменты» есть и второе значение — по крайней мере, для меня это в некотором роде эксперимент над стилем и презентацией. То, как создавались две мои предыдущие книги («Благими намерениями государства» и «Искусство быть неподвластным»), было похоже на создание сложных и тяжёлых осадных машин из пародии Монти Пайтона на средневековые сражения. Я писал подробные планы и диаграммы на пятиметровых рулонах бумаги и делал тысячи мелких сносок на источники. Когда я ненароком обмолвился Алану Мак-Фарлану, что мне не нравится столь нудный метод письма, он рассказал мне о методах писателя Лафкадио Хирна, состоявших в более интуитивной, свободной форме сочинения, которое начинается, как разговор, с самого захватывающего и поражающего воображение аргумента, а затем более или менее органично объясняет его. Я попытался последовать его примеру, используя формулы и выкладки куда меньше, чем обычно, надеясь, что книгу будет легче читать — а к этому однозначно и следует стремиться в произведениях с анархистским уклоном.

# Глава 1. Использование беспорядка и «харизмы»

## Фрагмент 1. Закон анархической гимнастики Скотта

Открыт мной в конце лета 1990 года в Германии, в городе Нойбранденбурге.

Желая улучшить мои практически отсутствующие познания в немецком языке перед тем, как провести год в качестве гостя Берлинского института перспективных исследований (Wissenschaftskolleg), я, вместо того, чтобы ежедневно сидеть на занятиях в Институте Гёте вместе с прыщавыми подростками, придумал устроиться работать на ферму. Поскольку Берлинская стена пала всего за год до этого, я решил поискать работу на шесть летних недель в восточногерманском колхозе (по-немецки Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, сокращённо LPG), который недавно переименовали в сельхозкооператив. У моего приятеля по институту, как оказалось, был близкий родственник, чей шурин был председателем колхоза в крохотной деревушке Плетц. Хотя и неохотно, этот шурин согласился предоставить мне жильё и питание в обмен на работу и немаленькую еженедельную арендную плату.

С точки зрения изучения немецкого языка методом полного погружения, мой план был прекрасен, но в плане приятного и поучительного времяпрепровождения ферма была сущим кошмаром. Жители деревни и в первую очередь хозяин фермы отнеслись ко мне с подозрением: возможно, они думали, что я приехал искать нарушения в их бухгалтерии или что меня подослали голландские фермеры, которые подыскивали себе земельные наделы в ожидании распада соцлагеря.

Колхоз в Плетце был ярчайшим примером такого распада. Здесь выращивали картофель с повышенным содержанием крахмала, который не годился для жарки (хотя свиньи ели его за милую душу), а нужен был для того, чтобы обеспечивать крахмалом восточноевропейских производителей косметики. И никогда еще ни одна из отраслей экономики не обрушивалась столь же быстро, как производство косметики в странах соцлагеря: уже на следующий день после падения Берлинской стены огромные кучи крахмалистого картофеля лежали вдоль железнодорожной насыпи и гнили под летним солнцем.

Помимо гаданий на тему предстоявших им бедствий и о том, какую роль во всём этом могу играть я, у моих хозяев была куда более острая проблема — я плохо понимал по-немецки, что для их маленькой фермы было чревато большими неприятностями. Что, если я открою

не ту калитку и выпущу свиней на соседское поле? Или накормлю гусей кормом для коров? Помню ли я всегда запираť дверь амбара на случай набега цыган? В первую неделю я действительно давал им достаточно поводов для беспокойства, и они принимались кричать на меня, повторяя неизбежную ошибку человечества и тщетно надеясь на то, что языковой барьер можно преодолеть криком. Им всё ещё удавалось сохранять видимость вежливости, но взгляды, которыми они обменивались за ужином, недвусмысленно намекали, что их терпение уже на исходе. Атмосфера подозрительности, окружавшая мою работу, не говоря уж о моей явной некомпетентности и незнании языка, действовала мне на нервы.

Чтобы сберечь и их, и свою психику, я решил проводить один день в неделю в близлежащем городе Нойбранденбурге. Добираться туда было нелегко: поезда в Плетце не останавливались, если рядом с рельсами не было флага, означавшего просьбу подобрать пассажира. На обратном пути о намерении выйти в Плетце нужно было предупредить проводника, и тогда машинист останавливал поезд в чистом поле специально ради того, чтобы высадить такого пассажира. Когда я наконец оказывался в городе, то гулял по улицам, заходил в кафе и бары, притворялся, будто читаю немецкие газеты (тайком заглядывая в свой маленький словарик) и старался не выделяться из толпы.

Единственный поезд из Нойбранденбурга, который останавливался в Плетце, отправлялся около десяти вечера. Если бы я опоздал на него, мне пришлось бы ночевать в этом незнакомом городе подобно бродяге, поэтому я всегда старался быть на станции как минимум за полчаса до отправления. На протяжении шести или семи недель всякий раз перед станцией происходило нечто весьма любопытное, и у меня было достаточно времени, чтобы наблюдать за этим и даже участвовать. Именно во время такого включённого наблюдения — как это называется у антропологов — у меня зародилась мысль об «анархической гимнастике».

Возле вокзала находился большой, во всяком случае, по меркам Нойбранденбурга, перекрёсток. Днём он был запружен машинами, пешеходами и грузовиками, поэтому на нём был установлен светофор. Однако поздно вечером автомобильное движение практически прекращалось, в то время как пешеходов, желавших насладиться вечерней прохладой, становилось намного больше. Между девятью и десятью вечера этот перекрёсток то и дело пересекали полсотни или даже больше пешеходов, и многие навеселе. Судя по всему, светофор был настроен под оживлённое дневное движение машин, а не под большое количество пешеходов по вечерам. Поэтому все эти пятьдесят или шестьдесят человек вновь и вновь терпеливо, по четыре-пять минут, а то и дольше, ждали зелёный свет на углу улицы, и казалось, они будут ждать вечно. Ландшафт Нойбранденбурга типичен для Мекленбургской равнины, то есть подобен блину, так что в обе стороны от перекрестка на пару километров не было видно ни одной машины, лишь крайне редко издали появлялся какой-нибудь одинокий маленький дымящий Трабант, который медленно подъезжал к перекрестку.

Я созерцал эту идиллию в общей сложности часов пять, и за всё это время лишь дважды некий пешеход решался перейти дорогу на красный свет под неодобрительное цоканье языков и показывание пальцем. Я тоже становился участником этой сцены. Если в этот день у меня не особенно выходило с немецким языком и я чувствовал себя неуверенно, то я стоял

на переходе вместе со всеми и ждал зеленого сигнала, потому что боялся косых взглядов в спину. Если же — такое случалось куда реже — у меня всё получалось и я чувствовал себя на высоте, то дорогу я переходил на красный свет, подбадривая себя размышлениями о том, что глупо повиноваться столь незначительному предписанию, в данном случае так противоречащему здравому смыслу.

Было удивительным настолько серьезно собираться с духом, чтобы всего лишь перейти дорогу вопреки общественному неодобрению. Как мало значили мои рациональные убеждения по сравнению с укоризной окружающих! Храбрый и решительный шаг на проезжую часть, возможно, производил сильное впечатление, но требовал больше мужества, чем обычно у меня было.

Пытаясь оправдать своё поведение, я принялся репетировать фразу на безукоризненном немецком, которая должна была стать ответом на возможный упрек в переходе дороги на красный свет: «Знаете, вам, а особенно вашим предкам, не хватает решимости нарушить закон. Когда-нибудь вам придётся нарушить важный закон во имя справедливости и рациональности. Всё будет зависеть от этого. Вы должны быть готовы. Как вы можете подготовиться к этому? Нужно всегда быть в форме. Нужно заниматься своего рода “анархической гимнастикой”. Каждый день нарушайте какое-нибудь незначительное правило, которое не имеет особого смысла, даже если это всего лишь переход дороги в неположенном месте. Включайте голову и думайте, справедлив и разумен ли закон. Так вы будете в форме, и когда наступит день X, вы будете готовы».

Решить, когда имеет смысл нарушить закон — дело непростое, даже в относительно безобидной ситуации перехода дороги в неположенном месте. Я вновь убедился в этом, когда посещал пожилого нидерландского учёного, чьими трудами я всегда восхищался. Во время моего визита он предстал убежденным маоистом и своего рода смутьяном в нидерландской университетской среде. Он пригласил меня на обед в китайский ресторан неподалёку от его дома в маленьком городке Вагенинген. Мы подошли к перекрестку, а на светофоре горел красный свет. Надо сказать, что рельеф в Вагенингене, как и в Нойбранденбурге, совершенно плоский, и местность просматривается на много километров во всех направлениях. Нигде не было видно машин. Я не раздумывая шагнул на проезжую часть, но д-р Вертхейм сказал: «Подожди, Джеймс». Я слабо запротестовал: «Доктор Вертхейм, но на дороге пусто», но всё-таки вернулся на тротуар. «Джеймс, — мгновенно ответил он, — это плохой пример детям». Я был вразумлён и получил урок. Этот смутьян-маоист одновременно обладал тонким, можно сказать, истинно нидерландским чувством гражданской ответственности, а я, американский ковбой, совершенно не думал о последствиях, которые мой поступок может иметь для окружающих. Теперь, когда я перехожу дорогу в неположенном месте, я всегда смотрю по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг нет детей, которым мои действия послужили бы плохим примером.

Почти в самом конце моего пребывания на ферме в Нойбранденбурге произошло более значительное событие, которое приковало всеобщее внимание к вопросу нарушения закона. Небольшая заметка в местной газете сообщала, что анархисты из Западной Германии (оставался ещё месяц до формального воссоединения двух частей Германии) возили на грузовой платформе из одного восточногерманского города в другой огромную статую из

папье-маше и выставляли её на городских площадях. Выглядела она как бегущий человек, частично замурованный в гранит, а называлась «Памятник неизвестным дезертирам обеих мировых войн». На статуе была надпись «Посвящается человеку, который отказался убивать другого человека».

Меня впечатлил этот великолепный анархистский жест, эта игра на контрасте с почти универсальным образом неизвестного солдата, этого безвестного пехотинца, который пал смертью храбрых, воюя за свою страну. Даже в Германии, даже в той её части, которая совсем недавно называлась Восточной Германией и была «первым социалистическим государством на немецкой земле», этот жест вызывал неприязнь. Неважно, насколько далеко зашли прогрессивные немцы в своём отрицании нацизма, они всё ещё, не сомневаясь, восхищались верностью и самопожертвованием гитлеровских солдат. Бертольд Брехт мог бы сказать, что brave солдат Швейк, этот противоречивый персонаж чешской литературы, предпочитавший битве за родину сосиски и пиво в теплом местечке, и есть пример народного пацифизма. Но городским администрациям в год заката ГДР при виде этой провокации из папье-маше было не до шуток. Статуя красовалась на городской площади ровно до тех пор, пока городские власти не запрещали её. Так она и путешествовала: из Магдебурга в Потсдам, из Потсдама в Восточный Берлин, из Восточного Берлина в Биттерфельд, из Биттерфельда в Галле, из Галле в Лейпциг, из Лейпцига в Веймар, из Веймара в Карл-Маркс-Штадт (Хемниц), из Хемница в Нойбранденбург, из Нойбранденбурга в Росток, а оттуда уже в Бонн — федеральную столицу ФРГ. Один за другим города изгоняли эту инсталляцию, что сопровождалось неизбежным в таких случаях резонансом. По-видимому, именно этого и добивались организаторы.

Этот яркий перформанс вкупе с пьянящей атмосферой первых двух лет после падения Берлинской стены был заразителен. Вскоре прогрессивно мыслящие люди и анархисты по всей Германии создали десятки собственных памятников дезертирам. Поразительно, что поступки, обычно считающиеся уделом трусов и предателей, внезапно признали почётными и даже в некоторой степени достойными подражания. Неудивительно, что именно Германия, которая определенно заплатила очень высокую цену за патриотизм на службе бесчеловечного режима, была одной из первых стран, где публично подвергли сомнению ценность послушания и стали устанавливать памятники дезертирам на площадях — рядом с мемориалами Лютеру, Фридриху Великому, Бисмарку, Гёте и Шиллеру.

## Фрагмент 2. О важности неповиновения

Акты неповиновения интересны нам, когда они служат примером, а особенно, когда, уже став примером, они запускают цепную реакцию, вызывая в остальных желание подражать. В таком случае мы видим не просто индивидуальный протест, порожденный трусостью или совестью — а может быть, и тем, и другим, — но социальное явление с возможными значительными политическими последствиями. Многократно умножаясь, такие маленькие поступки могут в конечном счёте не оставить камня на камне от придуманных генералами и

президентами планов. Обычно такие маленькие протесты не освещаются в прессе, но так же, как миллионы полипов исподволь превращаются в коралловый риф, так тысячи тысяч актов неповиновения и уклонения создают экономический или политический барьерный риф.

Заговор молчания с обеих сторон окутывает подобные поступки анонимностью. Те, кто совершают их, редко стремятся привлечь к себе внимание: залог их безопасности — незаметность. Со своей стороны, правительство тоже не горит желанием привлекать внимание к растущему числу протестов, поскольку не хочет, чтобы они вдохновляли остальных и показывали слабость легитимной власти. В результате обе стороны дружно замалчивают случившееся, из-за чего такие формы неподчинения почти не отражаются в исторических источниках.

Вместе с тем такие поступки, которые я в другом месте назвал «формами повседневного сопротивления», имеют и имели громадное, зачастую решающее влияние на режимы, государства и армии. Поражение Конфедерации в годы гражданской войны в США можно почти наверняка объяснить кумулятивным эффектом многочисленных случаев дезертирства и неповиновения. Осенью 1862 года, спустя год с небольшим после начала войны, на Юге случился большой неурожай. Солдаты, особенно из штатов, свободных от рабства, получали письма от голодающей родни с просьбами вернуться домой. Многие из них последовали этим призывам, порой дезертируя целыми подразделениями и с оружием, и по возвращении домой в большинстве своем активно сопротивлялись повторному призыву до самого конца войны.

После решающей победы северян при Мишинери-Ридж зимой 1863 года стало понятно, что поражения Конфедерации осталось ждать недолго, и поэтому из войск Юга началось массовое бегство солдат, по большей части малоземельных рекрутов, которые не были прямо заинтересованы в сохранении рабства, тем более ценой собственных жизней. Их отношение к войне хорошо выражалось лозунгом «Воюют богачи, а умирают бедняки», особенно ярко иллюстрировавшим закон, по которому богатые плантаторы, владеющие более чем двадцатью рабами, могли оставить одного из своих сыновей дома — предположительно, для присмотра за рабами. С учётом всего вышесказанного получается, что всего дезертировало или вовсе уклонилось от призыва порядка четверти миллиона годных к военной службе мужчин призывного возраста. К этому удару по Конфедерации, армия которой и без того проигрывала в численности, добавилось и то, что многие рабы, особенно из приграничных штатов, перебежали к северянам и записывались в армию, чтобы сражаться на стороне Севера.

Наконец, очевидно, что остальные рабы, ободрённые успехами северян и не желавшие утруждаться производством военной продукции, работали так медленно, насколько это было возможно, и часто сбегали в такие места, как болота Грейт-Дисмал-Суомп на границе между Вирджинией и Северной Каролиной, где их было сложно найти. Тысячи и тысячи дезертирств, прогулов и побегов, которые были незаметны и не должны были быть обнаружены, усилили военную и промышленную мощь Севера и, вполне возможно, стали решающим фактором в окончательном поражении сил Конфедерации.



В конечном итоге завоевательным войнам Наполеона тоже помешали волны неподчинения, сопоставимые по масштабам с описанным выше. Хотя и говорят, что в своих ранцах солдаты Наполеона разносили по Европе революцию, не будет преувеличением предположить, что границы этих завоеваний серьёзно съезжились благодаря неповиновению тех, кто должен был носить эти ранцы.

С 1794 по 1796 годы, в период Республики, а потом, начиная с 1812 года — в период наполеоновской империи, — набирать рекрутов из сельской местности было чрезвычайно сложно. Семьи призывников, их соседи, местные чиновники и целые кантоны договаривались встречать и укрывать дезертиров, а также прятать тех, кто уклоняется от призыва, в том числе отрубая себе один или несколько пальцев на правой руке. Уклонение от призыва и дезертирство было своеобразным референдумом о популярности режима и, учитывая стратегическую важность тех, кто «голосовал ногами», уходя в армию, результаты этого референдума были очевидны. Хотя граждане Первой Республики и империи Наполеона с радостью восприняли обещание всеобщего гражданства, его логичное следствие — всеобщая воинская повинность — была воспринята с куда меньшим энтузиазмом.

Вернёмся на мгновение назад. Важно отметить кое-что характерное для этих поступков: практически все они анонимны, они не кричат о себе. Их эффективность заключается в незаметности. Дезертирство сильно отличается от открытого мятежа, который прямо бросает вызов военному командованию. Оно не заявляет о себе публично, оно не издаёт манифестов; дезертирство — это не ответ, это уход от ответа. И вместе с тем, когда число дезертиров предаётся огласке, оно сдерживает амбиции командиров, которые знают, что они, возможно, не смогут рассчитывать на новобранцев. Во время непопулярной войны во Вьетнаме так называемый фреггинг (убийство с помощью осколочной гранаты) офицеров, которые неоднократно подвергали своих солдат неоправданному риску, был гораздо более жестоким и ярко выраженным, но всё же анонимным действием, направленным на снижение смертельного риска для солдат. Легко предположить, как сообщения о фреггинге, достоверные или нет, заставляли офицеров колебаться, когда они собирались вызваться на опасное дело со своими подчинёнными. Насколько мне известно, исследований относительно реальной распространённости фреггинга не проводилось, не говоря уж об изучении влияния этого феномена на поведение командного состава и на результаты войны. В этом случае мы снова сталкиваемся с заговором молчания с обеих сторон.

Тихое и безымянное нарушение закона и неповиновение, которое часто поддерживается и покрывается другими, вероятно, были излюбленными способами политической борьбы для крестьян и низших классов, для которых открытое восстание было бы слишком опасным. На протяжении двух столетий — приблизительно с 1650 до 1850 года — самым популярным преступлением в Англии было браконьерство, то есть незаконные вырубка леса и сбор хвороста, незаконные охота и рыбалка, незаконная заготовка сена на землях короля или помещиков. Популярное означает самое распространённое и одновременно наиболее горячо одобряемое простонародьем. Поскольку пейзаны так никогда и не согласились с притязаниями короны и дворян на владение дарами природы в лесах и реках, на полях, лугах и пастбищах, они постоянно и массово посягали на эту частную собственность, что, по сути, превращало любые попытки элит завладеть землей в пустой звук. И всё же народ вёл

войну за право собственности на землю и ее плоды исподтишка и почти никогда не объявлял её публично. Фактически крестьянам удалось утвердить своё право на эти земли, никогда формально об этом не заявляя. Часто отмечалось, что укрывательство виновных в таких преступлениях было настолько распространено, что егеря редко могли найти крестьянина, который согласился бы выступить свидетелем со стороны обвинения.

В историческом споре за право собственности противоборствующие стороны использовали наиболее подходящее им оружие. Чтобы утвердить и отстоять свои притязания на землю, элиты, контролировавшие законодательный аппарат государства, издавали билли об огораживании и правовые акты о единоличном владении; что уж говорить о полиции, егерях, лесниках, судах и виселицах? У крестьян и низших классов не было доступа к такой тяжелой артиллерии, поэтому для оспаривания претензий элит и утверждения своих прав они полагались на такие методы, как браконьерство, воровство и самозахваты. Незаметное и безымянное, как и дезертирство, это «оружие слабых» резко контрастирует с открытым вызовом, преследующим те же цели. Получается, что дезертирство менее рискованно, чем мятеж, тайный самозахват менее рискован, чем вторжение на земельные участки, а браконьерство менее рискованно, чем открытое заявление своих прав на древесину, дичь или рыбу. Для большей части населения планеты в наши дни, как и для низших классов в прошлом, такие методы были и являются единственной доступной формой повседневной политической борьбы. Когда они не приносили плоды, простому народу приходилось идти на более явные проявления конфликтов — восстания, беспорядки и открытые мятежи. Такие претензии на власть внезапно врываются в официальную историографию и оставляют след в архивах — излюбленном месте историков и социологов, которые придают архивным документам гораздо большее значение, чем они имели бы при более целостном описании классовой борьбы. Тихое непритязательное повседневное неповиновение ускользает от внимания историков, так как обычно не упоминается в архивах, не размахивает флагами, не имеет руководителей, не пишет манифестов и не имеет постоянной организации. Ведь те, кто вовлечен в такие формы политической борьбы, как раз и хотят остаться незамеченными. Можно сказать, что исторически цель крестьян и низших классов заключалась в том, чтобы их деятельность не попала в архивы. Если уж это произошло, можно с уверенностью сказать, что что-то пошло не так, причём серьёзно.

Если рассматривать диапазон политической борьбы управляемых классов от мелких безымянных актов сопротивления до массовых народных восстаний, можно заметить, что всплескам более рискованной открытой конфронтации обычно предшествует возросшее количество анонимных угроз и насильственных действий — подмётных писем с угрозами, поджогов и угроз поджога, порчи скота и оборудования, саботажа и т. д. Местные элиты и чиновники всегда знали, что такие действия предвещают скорое открытое восстание. Именно так объяснялись те, кто этим занимался, и частота неповиновения и «уровень угрозы» (термин, используемый министерством национальной безопасности США) воспринимались правителями того времени как провозвестники народного гнева и политических волнений. В одной из своих первых статей молодой Карл Маркс подробно разбирал корреляцию между безработицей и снижением зарплат среди фабричных рабочих в Рейнской области с одной стороны и увеличением количества уголовных дел о краже дров из помещичьих лесов с другой.

Подобные нарушения закона, по-моему, являются особым подвидом коллективного действия. Они нечасто признаются таковыми — во многом из-за того, что не высказывают претензии такого рода открыто, а также потому что они почти всегда одновременно служат собственным интересам человека. Как определить, что важнее для браконьера — тёплый очаг и тушёная крольчатина или оспаривание претензий аристократии на дерево и дичь, которые он взял в лесу? Он точно не заинтересован выносить на суд общественности мотивы своих поступков, делая их достоянием истории. Успех его притязаний на древесину и дичь зависит от того, останутся ли его действия и их мотивы в тени. И вместе с тем успех таких нарушений закона в долгосрочной перспективе зависит от согласия друзей и соседей браконьера покрывать его. Они могут делать это, потому что верят в собственные права на дары природы и сами занимаются браконьерством. В любом случае, они не станут свидетельствовать против браконьера в суде или выдавать его властям. Для того, чтобы добиться практических результатов, необязательно вступать в сговор. Так называемая «ирландская демократия» — тихое и настойчивое сопротивление, самоустранение и жесткость миллионов обычных людей — медленно, но верно поставили на колени больше режимов, чем революционные партии или бушующие толпы.

## Фрагмент 3. Продолжая разговор о неповиновении

Чтобы убедиться в том, что молчаливая согласованность в нарушении закона может походить на спланированные коллективные действия, но при этом быть опасными и неудобными для окружающих, мы можем рассмотреть это на примере соблюдения водителями скоростного режима. Допустим, на некоем участке дороги скорость ограничена до 90 км/ч. Вероятно, дорожная инспекция будет снисходительна к тем, кто едет 91, 92, 93 и вплоть до 98 км/ч, хотя, строго говоря, это уже превышение. Такое «разрешённое превышение» вскоре входит в обычай, и большинство автомобилей движется уже со скоростью 100 км/ч. А как насчёт 101, 102, 103 км/ч? Водители, которые едут быстрее, чем фактически разрешено, по их мнению, остаются в относительной безопасности. Вскоре нормой становятся уже 100–105 км/ч, и безнаказанность каждого водителя, который движется с такой скоростью, полностью зависит теперь от движущегося с той же скоростью потока машин. Превышение скорости, порождаемое созерцанием и молчаливой согласованностью, становится заразительным, хотя гипотетического «Центрального Комитета водителей», который собирался бы для разработки и планирования массовых акций гражданского неповиновения, не существует. Конечно, в определённый момент дорожная полиция вмешивается в процесс, наказывая всех, кого удалось задержать, и теперь водители уже должны следить за скоростью, с которой они движутся. А поскольку всегда находятся торопыги, испытывающие на прочность её верхнюю границу, если их никто не ограничивает, скорость начинает расти. Как и с любой аналогией, этот пример нельзя трактовать слишком широко. Люди превышают скорость по причине удобства, а не из-за спора о своих правах или личных претензий, и опасность, которой спешащие водители подвергаются при встрече с полицейскими, сравнительно невелика. Между прочим, если бы у нас было ограничение скорости до 90 км/ч и только три дорожных полицейских на всю

страну, но эти полицейские показательно казнили бы пятерых или шестерых задержанных за превышение, повесив их трупы вдоль автострад, динамика, описанная мной, немедленно стала бы совсем иной.

Я заметил похожую тенденцию в том, как люди срезают путь, а потом эти тропинки мостят, и они становятся узаконенными. Представьте себе, как люди обычно перемещаются из дня в день. Если бы их путь пролегал только через замощенные дорожки, им приходилось бы идти по двум катетам вместо нехоженой гипотенузы. Скорее всего, некоторые из пешеходов решат срезать путь и, если никто им не воспрепятствует, вытопчут дорожку, которую вслед за ними будут выбирать остальные пешеходы — просто чтобы сэкономить время. Если движение по этой дорожке будет достаточно оживлённым, а зрители — достаточно лояльными, такую тропинку могут со временем замостить — снова молчаливая согласованность в чистом виде. Конечно, почти все дороги в старинных городах, которые выросли из маленьких поселений, появились именно таким образом: они оформились из повседневных направлений движения пешеходов и повозок — от колодца к рынку, из церкви или школы к ремесленному кварталу — хороший пример принципа, который приписывают Чжуан-цзы: «Путь создаётся ходьбой».

Переход от практики к обычаю, а от него к узаконенным правам — общепринятая практика, как в обычном, так и в позитивном праве. В англо-американской традиции эта практика представлена законом о давности приобретения, когда захват собственности на достаточно долгий срок служит основанием для того, чтобы претендовать на законное право владения данным имуществом. Во Франции фактический захват земельного участка в случае доказательства его давности обретает статус законного приобретения и наделяет захватившего его правом собственности.

Совершенно очевидно, что субъекты, которые под властью авторитарного режима не имеют выбранных ими представителей, которые стояли бы на страже их интересов, а также лишены обычных возможностей протеста (демонстраций, забастовок, организованных общественных движений, диссидентских СМИ), не имеют иного выхода, кроме как тянуть время, заниматься саботажем, браконьерством, воровством и, наконец, восстать. Конечно, институты представительской демократии, свобода слова и собраний, которыми обладают граждане в наши дни, делают такие формы неповиновения ненужными. Ведь основная цель представительской демократии как раз и заключается в том, чтобы с помощью имеющихся общественных институтов дать демократическому большинству возможность реализовать свои притязания, какими бы они ни были.

Жестокая ирония заключается в том, что эта великая цель демократии редко реализуется на практике. Большинство великих политических реформ XIX и XX веков сопровождалось массовыми акциями гражданского неповиновения, беспорядками, нарушениями закона и общественного порядка и, как апофеоз, — гражданскими войнами. Эти волнения не только сопровождалось радикальными политическими изменениями, но зачастую были совершенно необходимы для того, чтобы они случились. Представительские институты и выборы сами по себе, к сожалению, редко приводят к существенным изменениям в отсутствие обстоятельств непреодолимой силы, например, экономической депрессии или войны.

Неудивительно, что вследствие неравномерной концентрации собственности и богатства в либеральных демократиях, а также привилегированном доступе к средствам массовой информации, культуре и всем тем преимуществам, которые имеются у богатейшей прослойки населения, как отмечает Грамши, наделение рабочего класса правом голоса не приводит к радикальным политическим изменениям [7]. Обычно для парламентской политики свойственна скорее инертность, чем поддержка серьёзных реформ.

Если наша оценка в целом верна, мы обязаны подумать над парадоксальным вкладом нарушений закона и беспорядков в демократические политические изменения. Взяв в качестве примера США в XX веке, мы обнаружим два основных периода реформ — Великую депрессию 1930-х гг. и движение за гражданские права чернокожего населения в 1960-х гг. В обоих случаях поражает ключевая роль, которую массовые беспорядки и угроза общественному правопорядку играли в процессе реформ.

На важнейшие политические перемены, например, назначение пособий по безработице, грандиозные проекты общественного строительства, социальное обеспечение малоимущих, а также Акт о сельскохозяйственном регулировании, несомненно, повлияла всемирная депрессия. Однако это чрезвычайное положение в экономике проявлялось не в сухих цифрах статистики доходов и безработицы, а в широко распространённых забастовках, мародёрстве, отказах платить за аренду, осаде мест выдачи гуманитарной помощи, иногда сопряжённой с насилием и беспорядками, вдохнувшими, пользуясь выражением моей матери, «страх божий» в души политических и бизнес-элит. Они были чрезвычайно встревожены этими симптомами революции. С самого начала все эти события происходили вне каких-либо институциональных рамок — никакие политические партии, профсоюзы или узнаваемые социальные движения не играли в них определяющей роли. Эти явления не несли в себе согласованной политической программы — напротив, они были поистине бессистемными, хаотичными и страшными для установленного порядка. Именно по этой причине не было никого, с кем можно было бы договариваться, кто мог бы пообещать спокойствие в обмен на смену курса. Угроза, которую представляли эти выступления, была обратно пропорциональна уровню их проникновения в систему. Переговоры можно вести с профсоюзом или с прогрессивным движением за реформы — с организациями, встроенными в институциональный аппарат. Забастовка — это одно, стихийная же забастовка — совсем другое: такую не в силах прекратить даже профсоюзные лидеры. Демонстрация, даже многочисленная, но имеющая лидеров — это одно, а бунтующая толпа — нечто иное. У них не было чётких требований и вождей, с которыми можно было вести диалог.

В конечном итоге источник массового спонтанного возмущения и беспорядков, угрожавших общественному порядку, лежал в резком росте безработицы и обвале заработной платы у счастливиц, ещё не потерявших работу. Нормальные условия, в которых работала обычная политика, внезапно испарились. Ни правительственные меры, ни решения, предлагаемые институциональной оппозицией и представительскими органами, не имели особого смысла. На индивидуальном уровне уход от привычных действий выражался в бродяжничестве, преступности и вандализме, на коллективном он выплёскивался в спонтанное сопротивление — бунты, захваты заводов и фабрик, забастовки с применением силы, демонстрации, перерастающие в беспорядки. Именно социальные силы, разбуженные Великой депрессией — силы, усмирить которые не могли ни политические элиты, ни

крупные собственники, ни, что важно, профсоюзы и левые партии — сделали реформы возможными: властям пришлось проводить их помимо своей воли.

Один мой проницательный коллега однажды заметил, что либеральные демократии на Западе обычно действуют в интересах примерно 20% самых богатых граждан, и добавил: «Чтобы всё шло гладко, особенно накануне выборов, нужно убедить треть населения в том, что опасаться беднейших следует вдвое больше, чем завидовать этим 20%». Об относительном успехе этой схемы можно судить по тому, насколько устойчиво неравенство доходов — а за последние полвека оно стало ещё сильнее. Моменты, когда эта схема даёт сбой — это кризисные ситуации, когда народный гнев переполняет чашу терпения и угрожает снести ориентиры, в которых функционирует обычная политика. Жестокость обычной, внутрисистемной либерально-демократической политики проявляется в игнорировании интересов бедняков до тех пор, пока не разразится внезапный и мощный кризис, который выведет их на улицы. Как отмечал Мартин Лютер Кинг: «Бунт — это язык тех, кого не слышат». Масштабные беспорядки, бунт и спонтанный протест всегда были самым мощным оружием бедных. Такая деятельность не бессистемна: её структуру образуют неформальные, самоорганизованные и невидимые взаимосвязи в квартале, на заводе и в семье, находящиеся вне привычных политических институтов. Это тоже своего рода структура, просто не вписывающаяся в рамки институциональной политики.

Наверное, самая большая ошибка либерально-демократических стран состоит в том, что им исторически не удавалось посредством своих институтов успешно защищать жизненно важные экономические интересы и обеспечивать безопасность наименее социально защищённых слоев населения. То, что демократический прогресс и обновление, напротив, по-видимому, зависят от масштабных случаев внесистемного беспорядка, радикально противоречит обещанию демократии служить инструментом для мирных перемен в ключевых существующих институтах. И то, что демократическая политическая теория не может объяснить ключевую роль кризиса и причины отказа институтов во время подобных социальных и политических реформ, когда политическая система обретает новую легитимность — это очевидный её провал.

Ошибочным и даже опасным будет полагать, что столь масштабные провокации всегда или хотя бы зачастую приводят к значительным структурным реформам. Вместо этого они могут привести к репрессиям, ущемлениям гражданских прав и свобод, а в крайних случаях — и к свержению представительской демократии. И всё же невозможно отрицать, что большинство конкретных реформ не началось бы без мощного всплеска недовольства и стремления властей успокоить народ и нормализовать обстановку. Желание использовать более «красивые» методы — претендующие на высокоморальность мирные собрания и демонстрации, которые призывают к праву, народовластию и свободам — вполне законно. Однако, если смотреть на вещи непредвзято, такие красиво оформленные и умеренные требования редко инициировали структурные реформы.

Усмирить неуправляемый протест, направить поток народного гнева в привычное русло социальных институтов — в этом и состоит роль профсоюзов, партий и даже радикальных общественных движений. Можно сказать, что их функция — перевести недовольство, раздражение и боль на язык связной политической программы, которая может стать

основой для выработки политики и законотворчества. Они — передаточный механизм между неуправляемым обществом и устанавливающими правила элитами. Подразумевается, что они хорошо справляются со своей задачей, если не только могут сформировать политические требования, которые будут приняты органами законодательной власти, но и попутно усмирят толпу и вернут контроль над ней, правдоподобно представляя её интересы (большей её части) перед теми, кто управляет страной. Правители ведут переговоры с такими «институтами перевода» постольку, поскольку люди им доверяют, а значит, заявляя о том, что они кого-то представляют, они могут действительно контролировать их. В этом случае не будет преувеличением сказать, что такого рода организованные интересы паразитируют на спонтанном неповиновении тех, чьи интересы они вызываются представлять. Именно это бунтарство — источник любого влияния, которым эти организации располагают в острые моменты, когда правящие элиты стремятся удержать восставшие массы и вновь направить их в русло нормальной политики.

Ещё один парадокс: в такие моменты организации, представляющие прогрессивные интересы, становятся заметными и влиятельными, используя неповиновение, не ими вдохновленное и не ими же контролируемое. Они приобретают влияние потому, что предполагается, что им удастся усмирить бунтующие массы и вернуть их в русло реальной политики. Если у них это получается, то, конечно же, парадокс углубляется, поскольку с уменьшением волнения, сделавшего их такими влиятельными, уменьшается и их способность влиять на политику.

Движение за гражданские права в 1960-х гг. и удивительно быстрое появление на сегрегированном Юге США отделений федерального бюро регистрации избирателей, а также принятие Закона об избирательных правах — всё это в целом происходило по той же схеме. Широкое распространение получили передвижные пункты регистрации избирателей, Freedom Rides [8] и сидячие забастовки, инициатива организации которых исходила из разных центров. Усилия многих организаций, специально созданных для того, чтобы координировать и организовывать все эти протесты — например, Студенческий координационный комитет ненасильственных действий — не говоря уж о старых, мейнстримовых правозащитных организациях вроде Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения или Конгресса расового равенства и Южной конференции христианских лидеров, не увенчались успехом. Энтузиазм, спонтанность и креативность набирающего обороты общественного движения далеко опережали те организации, которые хотели его представлять, координировать и направлять.

И вновь именно эти широко распространившиеся волнения, в значительной степени вызванные насилием со стороны поддерживающих сегрегацию и власть, обусловили кризис правопорядка в большей части южных штатов. Теперь Конгресс США спешно рассматривал годами пылившиеся под сукном законодательные акты, а Джон и Роберт Кеннеди совместно пытались справиться с ростом протестов и демонстраций. В контексте холодной войны их руки были связаны, потому что советская пропаганда использовала насилие на Юге, чтобы называть США расистским государством. За короткое время массовые беспорядки и насилие привели к тому, чего невозможно было достичь десятилетиями мирной организации и лоббирования.

Я начал этот очерк с довольно банального примера — перехода дороги на красный свет в Нойбранденбурге. Я говорил об этом не для того, чтобы побудить читателей нарушать закон ради нарушения закона, а тем более не ради того, чтобы сэкономить пару минут. Я всего лишь хотел показать, как привычка автоматически повиноваться может приводить к ситуации, которую всякий по здравому размышлению сочтет абсурдной. Почти все истинно освободительные движения вначале противостояли установленному законом порядку, не говоря уже о карательном аппарате. Они едва ли победили бы, если бы не несколько храбрецов, готовых нарушить эти законы и обычаи (например, устраивая сидячие забастовки, демонстрации и массовые нарушения принятых законов). Их действия, подпитываемые гневом, раздражением и яростью, наглядно демонстрировали невозможность удовлетворения их требований при существующем порядке и общественных институтах. Таким образом, главным в их готовности нарушить закон было не столько желание посеять хаос, сколько побуждение установить более справедливый законный порядок. Во многом именно нарушителям закона мы обязаны тем, что наши нынешние законы лучше и справедливее, чем в прошлом.

## Фрагмент 4. Объявление: «Лидер ищет последователей. Готов следовать за вами»

Бунты и беспорядки — не единственный способ заставить власти считаться с мнением народа. В определённых обстоятельствах элиты и лидеры особенно внимательны к гласу народа, к тому, что народу нравится или не нравится. Например, в случае с харизмой. Обычно о том, кто обладает харизмой, говорят так, будто у него есть сто долларов в кармане или БМВ в гараже. Но на самом деле, конечно же, харизма — это взаимоотношение, целиком и полностью зависящее от аудитории и уровня её культуры. Харизматичное выступление в Испании или Афганистане и близко не посчитают таковым в Лаосе или Тибете. Иными словами, харизма зависит от ответной реакции, от того, как люди откликаются на выступление. И в определённых случаях элиты очень сильно стараются получить этот отклик, найти правильный тон, чтобы их высказывание соответствовало желаниям и вкусам слушателей и зрителей. Изредка можно понаблюдать за такой подстройкой в режиме реального времени.

Рассмотрим в качестве примера одно из выступлений Мартина Лютера Кинга, которого в определённых кругах считают самым харизматичным американским публичным политиком двадцатого столетия. Благодаря Тейлору Бранчу и его подробному и скрупулёзному жизнеописанию Кинга и истории движения за гражданские права [9] мы можем сами увидеть, как проходил процесс поиска правильного тона в реальном времени и в респонсорном [10] пении афроамериканской церкви. Позволю себе привести длинную цитату из книги Бранча о речи, которую Кинг произнёс в декабре 1955 года в помещении ИМКА (YMCA, англ. Young Men's Christian Association — Юношеская христианская ассоциация) вскоре после оглашения приговора Розе Паркс и накануне бойкота автобусных линий в



“Сегодня вечером мы собрались здесь по важному делу”, — сказал он, поделив фразу на равные отрезки, сначала с восходящей, а затем с нисходящей интонацией. Когда он сделал паузу, прозвучало лишь несколько одобрительных возгласов, да и те несмелые. Он видел в толпе немало крикунов, но они молчали и ждали, к чему он клонит. (Затем он говорит о Розе Паркс как о хорошей гражданке).

“И мне думается, что у меня есть... есть основания говорить — хотя у меня нет на это права... что закон никогда не имел ясного толкования на этот счёт”. Эта фраза характеризует Кинга как оратора, который уделял внимание точности формулировок, что, увы, не вдохновило толпу. “Никто не посмеет оспорить того, что она — благородный человек и глубоко верующая христианка”.

“Так и есть”, — выдохнула толпа.

“И арестовали её только за то, что она отказалась встать с места”, — продолжил Кинг. Толпа заволновалась и теперь внимала Кингу гораздо активнее.

Следующая пауза была куда длиннее.

“И знаете что, друзья мои? Наступает время, — вскричал он, — когда люди больше не хотят находиться под железной пятой угнетения!”

Одобрительные возгласы внезапно слились в общий хор голосов, а секундой позже зал взорвался аплодисментами. Этот раскат катился по аудитории волной, которая, казалось, то спадала, то поднималась с новой силой, начинаясь за пределами зала. Топот ног по деревянному полу здания казался громом. Шум стоял такой, что, казалось, вибрировало всё, даже тела присутствующих. Звуки сотрясали здание и не собирались утихать, и этот процесс запустила всего лишь одна фраза, благодаря которой обычный для негритянских церквей обмен репликами между оратором и слушателями вырвался за пределы формата политического митинга и превратился в нечто, с чем Кинг раньше никогда не имел дела. Сам не осознавая того, он сдвинул с места огромную людскую машину.

Когда шум наконец утих, Кинг снова возвысил свой голос: “Приходит время, друзья мои, когда люди устают от постоянного унижения и беспросветного, тягучего отчаяния. Приходит время, когда людям надоедает, что их то и дело выталкивают из ясного солнечного июля в пронизывающий холод альпийского ноября. Приходит время, когда...” — Кинг заходил на новый

виток, но рёв толпы уже заглушил его слова. Никто не знал, чем это было вызвано на сей раз — тем ли, что он затронул нечто очень важное, или просто гордостью за оратора, который мог с такой лёгкостью приводить такие примеры. “Мы здесь... мы здесь, потому что мы устали”, — повторил Кинг».

Кинг выступал перед христианскими общинами чернокожих американцев, перед борцами за гражданские права и сторонниками ненасильственного сопротивления. В каждом из этих сообществ аудитория отличалась. Со временем, хотя слушатели его пламенных речей и казались пассивными, они стали помогать ему, отбирая своими откликами темы, создававшие эмоциональную связь между Кингом и слушателями, которые Кинг затем усиливал и разрабатывал, как мог только он. Он чаще упоминал темы, которые трогали за живое, а те, которые не вызывали отклика, постепенно уходили из его ораторского репертуара. Как и все харизматические явления, это была взаимная гармония.

Ключевое условие наличия харизмы — умение внимательно слушать и отвечать. Внимательно слушать означает зависеть от аудитории, взаимодействовать с нею. Слишком большая власть не нуждается в том, чтобы прислушиваться к мнению окружающих, и слышат лучше не те, кто наверху пирамиды, а те, кто внизу.

Повседневное качество жизненного пространства раба, крепостного, арендатора, рабочего или прислуги сильно зависит от того, насколько точно они могут понять настроение и желания господ — тогда как рабовладельцы, землевладельцы и начальство часто игнорируют нужды своих подчинённых. Главную роль в отношениях такого рода играют общественные условия, поощряющие такую внимательность. Для Кинга она заключалась в том, что ему предложили руководить бойкотом автобусного сообщения в Монтгомери, и он зависел от энтузиазма участников бойкота из чёрного сообщества.

Чтобы увидеть, как действует такое парадоксальное «составление речей» в иных контекстах, представим себе менестреля на рынке в средневековой Европе, который зарабатывает на жизнь пением и игрой на лютне. Далее, предположим, что он исполняет свои песни в бедных кварталах города и зависит от денег, которые бросают ему слушатели. Наконец, допустим, что у этого менестреля в репертуаре есть тысяча песен и что он только недавно появился в этом городе.

Мне кажется, что сначала наш менестрель начнёт петь что Бог на душу положит или будет играть те песни, которые нравились слушателям других городов. День за днём он наблюдает за реакцией слушателей и за количеством медяков в своей шляпе в конце дня. Иногда они, возможно, просят его что-нибудь сыграть. Со временем, конечно же, менестрель — если он достаточно внимателен, ведь это в его интересах — сузит свой активный репертуар до песен, которые нравятся его аудитории больше всего. Некоторые песни уйдут из его репертуара, а некоторые он станет повторять снова и снова. Слушатели со временем сформируют его репертуар в соответствии со своими вкусами и предпочтениями, так же, как слушатели Мартина Лютера Кинга со временем сформировали его речи. Наш пример слишком прост, поскольку не принимает в расчёт талант менестреля

или оратора, который постоянно ищет новые темы и разрабатывает их, и не учитывает эволюции вкусов слушателей, но всё же он показателен в том, что харизматическое лидерство — процесс двусторонний.

Приведённый нами пример с менестрелем не так уж отличается от реальной истории китайского студента, посланного в деревню во время «культурной революции». Студент был хрупкого телосложения и не обладал никакими умениями, которые были бы полезны для крестьян, поэтому поначалу его презирали как ещё одного бесполезного нахлебника. Крестьяне сами недоедали, поэтому почти не кормили его, и студент постепенно угасал. Однако он обнаружил, что жители деревни любили, когда он по вечерам рассказывал им народные сказки, которых он знал сотни. Чтобы он подольше рассказывал их, крестьяне подкармливали его, выживал он в буквальном смысле благодаря сказкам. Более того, его репертуар, подобно репертуару нашего воображаемого барда, со временем подстроился под вкусы его слушателей-крестьян. Некоторые истории не трогали их, и тогда он оставался голодным, другие же слушателям нравились, и они просили рассказывать их вновь и вновь. Он буквально зарабатывал себе на жизнь рассказами, но вот музыку заказывала как раз аудитория. Когда позднее была разрешена частная торговля и стали появляться рынки, он рассказывал свои истории на районном торжище, где у него была уже другая, более обширная аудитория, и ему вновь пришлось адаптировать свой репертуар, теперь уже в соответствии с предпочтениями новых слушателей [11].

Политики, соревнующиеся за голоса избирателей в беспокойные времена, когда испытанные приёмы уже практически не работают, тоже, подобно менестрелю или Мартину Лютеру Кингу, стараются внимательно прислушиваться к тому, что волнует их избирателей, в чьей поддержке и энтузиазме они нуждаются. Ярким примером этого является первая президентская кампания Франклина Делано Рузвельта в начале Великой депрессии. В самом начале кампании Рузвельт был довольно консервативным демократом, не склонным делать слишком уж радикальные заявления или давать обещания. Однако во время кампании, которая в основном происходила на полустанках из-за того, что кандидат был парализован, стандартные речи Рузвельта изменились, став более радикальными и экспрессивными. Рузвельт и его спичрайтеры лихорадочно работали, пробуя новые темы, новые выражения и новые заявления чуть ли не на каждом полустанке, мало-помалу сообразуясь с реакцией аудитории. В эпоху беспрецедентной нищеты и безработицы Рузвельт встречался с людьми, которые смотрели на него с надеждой и ждали, что он им поможет, и постепенно его стандартная речь стала воплощать эти надежды. В конце кампании его «платформа» стала более радикальной, чем в начале. Аудитория на полустанках в каком-то смысле совместно написала (вернее, «отфильтровала») его речь, и изменилась не только она, но и сам Рузвельт, который теперь ощущал себя воплощением надежд миллионов отчаявшихся сограждан.

Такая форма влияния исподволь работает только при определённых условиях. Если менестреля нанимает местный помещик, чтобы он пел ему хвалу в обмен на еду и кров, репертуар менестреля будет другим. Если политик живёт в основном за счёт крупных спонсоров, которые хотят не только прислушиваться к общественному мнению, но и формировать его, то он будет уделять меньше внимания своим рядовым сторонникам. Социальное или революционное движение, которое ещё не пришло к власти, обычно

отличается лучшим слухом, чем то, которое властью уже наделено. Сильнейшие не нуждаются в поддержке. Как выразился Кеннет Боулдинг, «чем крупнее и авторитарнее организация (или государство), тем вероятнее, что его верхушка пребывает в своём полностью воображаемом мире» [12].

# Глава 2. Народный и официальный порядок

## Фрагмент 5. Народное и официальное мировосприятие

Я живу в городке Дарем, штат Коннектикут, названном так в честь моего более известного английского тёзки. Неизвестно, в чём тут дело — в тоске по родной земле или в заурядном недостатке воображения, но в Коннектикуте едва ли найдётся город, который не носит английского имени. Индейские топонимы сохранились только в названиях озёр, рек и самого штата. Редкая колонизация обходится без того, чтобы переименовать географические объекты, дабы заявить на них свои права и сделать ближе и удобнее для колонизаторов. В таких разных местах, как Ирландия, Австралия и Западный берег реки Иордан, переименование велось тщательно и скрупулёзно — чтобы вытеснить прежние названия.

Возьмём как пример местное и официальное названия дороги, соединяющей мой Дарем с прибрежным городом Гилфорд, находящимся в 25 км к югу. Жители Дарема между собой называют эту дорогу Гилфорд-роуд, потому что она ведёт в Гилфорд. В Гилфорде эта же дорога называется Дарем-роуд, потому что она ведёт в Дарем. Можно предположить, что те, кто живёт посередине между двумя городами, в зависимости от того, куда они направляются, называют эту дорогу то Дарем-роуд, то Гилфорд-роуд. То, что у одной и той же дороги разные названия, которые зависят исключительно от того, где вы находитесь, наглядно показывает непостоянство народной топонимики и её зависимость от ситуации. Каждое такое название содержит в себе ценное знание данной местности, вероятно, самое важное, что вам нужно знать о дороге — то, куда она ведёт. Народная топонимика приводит не только к появлению одной дороги с двумя названиями, но и многих дорог с одним и тем же названием. Так, в близлежащих городах Киллингворт, Хаддэм, Мэдисон и Мэриден тоже есть дороги, ведущие в Дарем, и местные жители называют их Дарем-роуд.

Теперь давайте представим, с какими непреодолимыми трудностями столкнётся при такой эффективной с точки зрения местных жителей системе посторонний, если он захочет узнать уникальное и определённое название каждой дороги. Дорожные рабочие, которым дали задание залатать Дарем-роуд, совершенно справедливо спросят: «Какую Дарем-роуд?» Неудивительно, что на картах штата и на дорожных знаках дорога между Даремом и Гилфордом фигурирует как Дорога 77. Топонимические практики государства требуют согласованной, стандартизированной системы идентификации, позволяющей наиболее точно и однозначно указывать на географические объекты. Обозначение «Дорога 77» не

сообщает нам, куда ведёт эта дорога; смысл у этого названия появляется в том случае, когда мы расстелим карту, на которой показаны все дороги штата. При этом официальное название может быть жизненно важно: если вы получили серьёзную травму в ДТП на дороге между Даремом и Гилфордом, то будет лучше, если вы недвусмысленно сообщите бригаде скорой помощи, что дорога, на которой вы лежите и истекаете кровью, называется «Дорога 77».

Во многих случаях народная и официальная топонимика пересекаются, и местные названия улиц и дорог кодируют локальное знание. Примерами этого являются Девичий переулок, на котором когда-то жили пять сестер, так и не вышедших замуж и ходивших каждое воскресенье по нему в церковь, улица Сидровая Горка — дорога вверх по холму, на котором когда-то стояла сидроварня, или Молочная улица, где раньше продавали молоко, сметану и масло. Раз уж такое местное название было зафиксировано, оно наверняка было самым удобным и полезным для жителей, хотя чужаки и приезжие не понимали его смысла. Другие названия дорог могут относиться к географическим особенностям местности: Слюдяная Гряда, Голые Камни, Сухой Ручей. Совокупность названий дорог и других объектов — это действительно кладёз знаний о местной географии и истории, если знать, от чего произошло то или иное название. Приезжие планировщики, налоговики, транспортники, диспетчеры скорой помощи, полицейские и пожарные предпочитают местной системе имен более согласованную и стандартную официальную систему. Дай им волю, они бы создали сетку параллельных улиц с последовательной нумерацией (Первая улица, Вторая улица) или улиц, названных по сторонам света (Первая Северо-Западная улица, Первый Северо-Восточный проспект). Выдающийся пример такого рационального планирования — город Вашингтон. Напротив, в Нью-Йорке используется гибридная система. Для бывших пешеходных тропок, а ныне запутанных дорог и улиц южнее Уолл-стрит, которая проходит на месте ограды первоначального голландского поселения, используют «народные» названия. Севернее Уолл-стрит ветвится удобочитаемая сеть улиц, пересекающих друг друга под прямым углом и за небольшим исключением пронумерованных последовательно. В некоторых городах Среднего Запада США решили, что нумерованные улицы — это слишком скучно, поэтому стали называть их по именам президентов США в порядке их правления. С точки зрения удобства эта система понравится разве что любителям викторин, знающих порядок, в котором идут улицы Полка, Ван Бюрена, Тейлора и Кливленда, хотя с позиций педагогики такой подход имеет свои преимущества.

Народные единицы измерения точны ровно настолько, насколько это необходимо. Это символизируют такие выражения, как «щепотка соли», «на расстоянии брошенного камня», «копна сена», «на расстоянии крика». Во многих случаях народные меры оказываются более точными, чем самые стройные системы, и примером этому может служить совет, который Сквонто [13] дал первым поселенцам в Новой Англии касательно времени засева маиса — новой для них культуры. Говорят, что он велел им «сеять кукурузу, когда листья дуба размером с беличье ушко». Напротив, календарь фермера в XVIII веке обычно рекомендовал сажать растения «после первого майского полнолуния» или в конкретную дату. Можно себе представить, что издатель календаря в первую очередь опасался заморозков, и поэтому хотел перестраховаться. Но рекомендации календаря по-своему жёсткие. Как различаются сроки высадки на прибрежных участках и в центральных районах? А если поля находятся на северной стороне холма и получают меньше солнечного света? И как быть с участками на

возвышенностях? Общие рекомендации из календаря трудно применимы в различных условиях. В отличие от них, формулу Сквонто легко использовать повсеместно. Она работает везде, где есть белки и дубы. Оказывается, эта народная примета тесно связана с температурой почвы, от которой зависит появление листвы на дубах. Она основана на пристальном наблюдении за последовательностью весенних событий, которые всегда следуют друг за другом, но могут наступить раньше или позже, закончиться медленно или быстро, тогда как календарь полагается на универсальную систему солнечных и лунных циклов.

## Фрагмент 6. Официальное знание и пространства контроля

Порядок, рациональность, абстрактность и единообразие прочтения определённых систем наименования, географических и архитектурных объектов, рабочих процессов порождены иерархической властью. Я называю эти системы «способами контроля и апроприации». Простой пример: нигде в мире не существовало ныне повсеместной системы отчеств, пока государства не сочли её полезной для идентификации личности. Эта система распространилась вместе с налогами, судами, правом собственности на землю, воинской повинностью и полицией — т. е. вместе с развитием государства. Теперь ей на смену пришли идентификационные номера, фотографии, отпечатки пальцев и тесты ДНК, но первоначально средством надзора и контроля служила она. В результате появились методы, которые можно с одинаковой лёгкостью использовать для поголовных прививок и для преследования врагов режима. Они монополизируют знание и власть, но совершенно нейтральны по отношению к целям, для которых их используют.

Промышленный конвейер, если посмотреть на него с этой же точки зрения, — это разделение труда, пришедшее на смену традиционному ремесленному производству, когда только инженер-конструктор контролирует весь рабочий процесс, а рабочие в цеху представляют собой взаимозаменяемые «рабочие руки». В некоторых случаях такое производство может быть эффективнее кустарного, но нет сомнений, что этот подход всегда сосредотачивает власть над производственным процессом в руках тех, кто контролирует конвейер. Однако утопичная мечта руководства о совершенном механическом контроле не была и не могла быть реализована не только потому, что вмешались профсоюзы, но и потому, что у каждого станка есть свои особенности, и рабочего, который знал, как приноровиться к этому станку, ценили именно за это. И такое традиционное знание было необходимо для успешной работы даже при конвейерном производстве.

Там же, где важно иметь стандартный продукт, а основную часть работы можно выполнять в специально созданных для этой цели условиях, например, в цеху завода Генри Форда или, если уж на то пошло, в собирающем бигмаки кулинарном подразделении Макдоналдс, степень контроля над производством может быть впечатляющей. Расписанный до мелочей производственный процесс во франшизах Макдоналдс рассчитан так, чтобы максимизировать контроль центра за используемыми материалами и процессами. То есть

контролёр, прибывающий в ресторан с инспекцией, может оценивать франшизу, проставляя галочки в своём контрольном листе согласно протоколу, который изначально является частью процесса. Кулеры имеют одинаковый вид и расположены в заранее определённых местах. То же касается жарочных шкафов и грилей, графиков их очистки и обслуживания, бумажной упаковки и так далее и тому подобное. Идеальная форма безупречной франшизы Макдоналдс и совершенного бигмака придумана в центральном офисе компании и воплощена в архитектуре, выкладке и тренинге персонала таким образом, чтобы определять степень их близости к идеалу посредством контрольных листов и системы баллов. По своей внутренней логике фордистское производство и модули Макдоналдса являются, как заметил Эрнст Шумахер в 1973 году, «наступлением на непредсказуемость, непунктуальность, общую непокорность и упрямство живой природы, включая человека» [14].

Я полагаю, не будет преувеличением рассматривать три минувших века в качестве торжества стандартизации и вытеснения прежних порядков всеобщим захватом и контролем. Вполне логично, что этот триумф шел рука об руку с появлением крупномасштабных иерархических организаций, среди которых государство — это всего лишь один, хоть и самый яркий пример.

Список утраченного ужасает, и здесь я только начинаю перечислять то, что мы потеряли (приглашаю читателей продолжить этот список, если у них возникнет желание). Итак, стандартные национальные языки заменили собой местные диалекты. Частное товарное земледелие уступило сложному севообороту. На смену более старым районам и кварталам, построенным безо всякого плана, пришли аккуратно распланированные. Крупные фабрики и сельхозпредприятия сменили производивших разнообразную продукцию ремесленников и мелких фермеров. Бесчисленные местные обычаи присвоения имён канули в лету, а вместо них появились стандартные практики наименования и идентификации. Общегосударственное законодательство заменило собой местное право и традиции. Масштабные системы ирригации и электроснабжения пришли на смену примитивному орошению и сбору топлива в округе. Всё, что могло сопротивляться контролю и захвату, ушло, освободив место тому, что облегчает иерархическую координацию.

## Фрагмент 7. Живучесть традиций

Совершенно очевидно, что в определённых случаях современные тотальные методы принудительной координации могут стать самым эффективным, целесообразным и удовлетворительным решением. Исследования космоса, планирование обширных транспортных сетей, производство самолётов и другие крупномасштабные направления требуют привлечения огромных организаций под управлением небольшого числа специалистов, которые будут дотошно, до мелочей координировать их деятельность. Для контроля над распространением эпидемических заболеваний или загрязнением тоже нужен центр, укомплектованный специалистами, которые получают и обрабатывают стандартную информацию из сотен источников.



Однако такие методы перестают действовать и часто приводят к катастрофам, когда встречаются на своём пути упрямую природу, понять которую едва ли в силах, или наталкиваются на упрямство природы человеческой, сложность которой тоже едва ли смогут уразуметь.

Типичным примером этому является неудача «научного» лесоводства, изобретенного в немецких землях в конце XVIII столетия, или некоторые формы плантационного сельского хозяйства. Желая увеличить прибыль от продажи дров и деловой древесины с единицы площади, родоначальники новой науки утверждали, что, в зависимости от почвы, максимальный объём древесины с гектара даёт либо норвежская ель, либо шотландская сосна. С этой целью они вырубали смешанные леса и посадили деревья одного вида в одно и то же время и ровными рядами, как овощи на грядках. Они стремились вырастить лес, который легко было проверять, можно было рубить в любое нужное время и получать одинаковые брёвна из стандартных деревьев (der Normalbaum). Некоторое время — почти целое столетие — эта система работала прекрасно, но затем рассыпалась. Оказалось, что первые посадки процветали за счёт ресурсов почвы, накопленных смешанным лесом, на месте которого они теперь росли и не восполняли эти ресурсы. Прежде всего, лес, состоявший из деревьев одного вида, был прекрасным местом для питания паразитов, жуков и болезней, которые атаковали шотландскую сосну или норвежскую ель. Лес, состоявший из деревьев одного возраста, также оказался более уязвим перед воздействием бурь и ураганов. Стремясь упростить лес и сделать его единой производственной территорией, приверженцы «научного лесоводства» радикально снизили его видовое разнообразие. Нехватка последнего в этом ущербном лесу ощущалась на всех уровнях: там было мало видов насекомых, птиц, млекопитающих, лишайников, мхов, грибов и растительности в целом. Планировщики создали зеленую пустыню, и природа нанесла ответный удар.

Спустя столетие с небольшим преемники создателей «научного» лесоводства, в свою очередь, превратили термины «смерть леса» (Waldsterben) и «восстановительное лесоводство» в синонимы/

Генри Форд, воодушевленный успехом форда-Т и свалившимся на него невообразимым богатством, столкнулся с подобной проблемой, когда попытался перевести свой успех в автомобилестроении в выращивание каучуковых деревьев в тропиках. Он купил расположенный рядом с притоком Амазонки земельный участок размером со штат Коннектикут и принялся создавать Фордландию.

Если бы у него получилось задуманное, его плантация могла бы давать достаточно каучука, чтобы надолго обеспечить шинами все произведённые на его заводах машины, однако этот план оказался полностью провальным. В естественной среде обитания в бассейне Амазонки каучуковые деревья произрастают то тут, то там посреди зеленого океана биологического разнообразия. Они хорошо растут в таких условиях во многом потому, что находятся достаточно далеко друг от друга, чтобы минимизировать передачу болезней и паразитов, которые предпочитают их в этом естественном месте их обитания. Голландцы и англичане привезли эти растения в Юго-Восточную Азию, где они росли в условиях плантаций неплохо именно потому, что вместе с ними не приехали все их вредители и враги. Однако при

плотной посадке каучуконосов в бассейне Амазонки всего лишь через несколько лет они пали жертвами множества болезней и вредителей, которых не могли остановить даже героические и дорогостоящие тройные прививки (когда одна ветка прививается к стволу, а затем этот ствол прививается к корню).

Покорить природу, хоть и с трудом, можно было в построенном специально для этой цели рукотворном сборочном цеху в Ривер-Руже. В тропиках Бразилии это было невозможно. Вложив миллионы долларов в этот проект, внося бесчисленные изменения в менеджмент и первоначальные планы, столкнувшись с протестами рабочих, Генри Форд был вынужден свернуть свою бразильскую авантюру.

Он начал с того, что узнал у экспертов, каким должно быть идеальное каучуковое дерево, а затем попытался изменить окружающую среду, чтобы получить задуманное. Сравним эту логику с её зеркальным отражением: отталкиваться от условий среды и выбирать растения, которые лучше всего подходят для неё. Традиционные практики картофелеводства в Андах представляют собой хороший пример земледелия, основанного на традициях и навыках. В высокогорных районах крестьянин может выращивать картофель на пятнадцати разных участках, иногда меняя их местами. Каждая делянка отличается по составу почвы, высоте над уровнем моря, ориентации по отношению к солнцу и ветру, влажности, уклону и тому, какие растения выращивались на ней раньше. Не бывает «стандартного поля». Выбирая из множества местных сортов, каждый из которых обладает определёнными, хорошо известными характеристиками, крестьянин пытается предугадать, какой из них на какой делянке сажать. Иногда на одном участке может расти до дюжины разных сортов. Каждый сезон — время новых проб, при которых внимательно учитываются результаты предыдущего сезона, например, урожайность, подверженность болезням, цена на картофель и отклик каждого сорта на изменение условий выращивания. Эти хозяйства, выращивающие картофель на продажу, представляют собой настоящие экспериментальные станции, для которых характерны хорошая урожайность, отличная приспособляемость и надёжность. Не менее важно, что в таких хозяйствах производится не только продовольствие — в них воспроизводится новое поколение фермеров и формируется общность людей, умеющих выращивать растения, применять гибкие стратегии, учитывать экологические последствия своих действий, а также обладающих значительной уверенностью в себе и самостоятельностью.

Логика экстенсивного сельского хозяйства на научной основе в Андах аналогична амазонским плантациям Генри Форда. Оно начинается с мысли об «идеальном» картофеле, что в основном, хотя и не полностью, равнозначно тому, который приносит самый богатый урожай. Затем ученые-растениеводы принимаются за селекцию генотипа, который будет наиболее полно удовлетворять желаемым свойствам. Чтобы узнать, какие условия для него наиболее благоприятны, его выращивают на экспериментальных участках. Следовательно, главная задача экстенсивного земледелия — перестроить всю среду фермерского поля таким образом, чтобы полностью реализовать потенциал нового генотипа. Это может включать и применение азотных удобрений, гербицидов и пестицидов, и специальную подготовку поля и почвы, и ирригацию, и особый режим выращивания (подбор правильного времени посадки, полива, прополки и сбора урожая). Естественно, каждый новый «идеальный» сорт за три-четыре года обычно одолевают болезни и вредители, поэтому его

заменяют новым «идеальным картофелем», и цикл повторяется. По мере успешности этого подхода и поля, и те, кто на них работает, приводятся к единому стандарту, подобно тому, как Генри Форд стандартизировал рабочую среду и рабочих на заводе в Ривер-Руже. И конвейер, и монокультурное сельское хозяйство обязательно предполагают порабощение традиционных ремесленников и искоренение разнообразия традиционных практик.

## Фрагмент 8. Привлекательность города в беспорядке

Оказывается, разнообразие любят не только цветы. Человеческая природа тоже, кажется, предпочитает быть разнообразной и отличаться от унылой одинаковости.

Расцвет модернизма в городском планировании пришёлся на первую половину XX века, когда объединение успехов в гражданском строительстве, революционных материалов и технологий, а также политических амбиций по улучшению городской среды преобразили города Запада. Своей амбициозностью этот процесс подозрительно напоминает «научное лесоводство» и плантационное сельское хозяйство: акцент ставился на визуальный порядок и разделение функций. Визуально — и я к этому ещё вернусь — архитекторы-утописты предпочитали «благородную прямую линию», прямые углы и стройность форм. Что касается расположения объектов в пространстве, почти все проектировщики предпочитали строго разделять разные сферы жизнедеятельности города: жилые и торговые районы, офисные пространства и развлечения, государственные учреждения и места для народных гуляний. Легко понять, почему для них это было удобно — взяв за основу некую формулу, можно было рассчитать площадь и протяжённость полок для определённого количества магазинов, обслуживающих конкретное количество покупателей, распланировать транспортное сообщение и так далее. Для жилья таким же образом определялась полезная площадь (из расчета на типовую семью), объём солнечного света, воды и пространства на кухне, число электрических розеток и даже детей на детской площадке. Строгое разделение функций уменьшало количество переменных в этой формуле — так было легче планировать, легче строить, легче обслуживать, легче контролировать и вообще, как казалось властям, так было приятнее глазу. Планирование пространств, предназначенных для деятельности одного рода, облегчало стандартизацию, тогда как планирование сложного города с разнообразными видами деятельности в таких условиях было бы кошмаром.

Увы, проблема была в том, что людям обычно не нравились такие города, и они изо всех сил старались их избегать. Когда же обойтись без этого было нельзя, они находили иные способы выразить своё отчаяние и презрение. Говорят, что эра постмодерна началась ровно в 15 часов 16 марта 1972 года, когда был окончательно и бесповоротно взорван Pruitt-Igoe — знаменитый многоквартирный жилой комплекс в Сент-Луисе, превратившийся в грудку обломков. Его обитатели, по сути, оставили от него только оболочку. Здания в Pruitt-Igoe были всего лишь флагом целой череды изолированных многоквартирных высоток, которые для большинства живущих там казались унижающими человеческое достоинство складами для лишних людей — социального жилья, ныне по большей части разрушенного.

Эти проекты реализовывались под лозунгами «очистки трущоб» и уничтожения «городских развалин», и уже тогда их подвергали обстоятельной и, как оказалось, заслуженной критике такие урбанисты, как Джейн Джекобс, более заинтересованные в традиционном городе с его повседневной жизнью и в том, как он работает, а не как он выглядит. Городское планирование, как и большинство других официальных схем, характеризовалось сознательной зашоренностью взгляда. Иными словами, оно целиком и полностью концентрировалось на одной цели и предпринимало шаги для её достижения. Если целью было выращивание кукурузы, то нужно было получить как можно больше центнеров кукурузы с гектара; если целью был выпуск автомобилей Форд Т, то нужно было выпустить как можно больше автомобилей при неизменной стоимости труда и материалов; если цель — медицинское обслуживание населения, то больница строилась исключительно с учётом эффективности лечения; если целью было производство древесины, то лес превращали в монокультурную систему.

Джекобс понимала три истины, на которые закрывали глаза архитекторы-модернисты. Во-первых, она отвергала выведенное кем-то ошибочное утверждение, что в каждом роде деятельности происходит что-то одно, и потому задача проектировщика заключается в том, чтобы сделать его максимально эффективным. В отличие от проектировщиков, алгоритмы которых зависели от заданных показателей эффективности — время в пути от дома до работы или наиболее рациональный маршрут доставки в город продовольствия, — она понимала, что у каждого рода человеческой деятельности есть множество целей. Мамы или папы с колясками могут одновременно разговаривать с друзьями, ходить по делам, перекусывать на ходу или искать книгу, а служащий самым лучшим моментом за день может считать обед или кружку пива в компании коллег.

Во-вторых, Джекобс точно подметила, что именно по этой причине, а также из простого удовольствия быть в гуще событий самыми привлекательными были городские районы, которые служили разным целям. Успешные территории — безопасные, приятные, богатые удобствами и экономически жизнеспособные — в основном представляли собой густонаселенные и по-разному используемые территории, где были сосредоточены и перемешаны практически все городские функции. Более того, эти районы динамично развивались, поэтому все попытки заранее определить и зафиксировать функции района на этапе его планирования Джекобс называла «социальной таксидермией».

Наконец, она объяснила, что, если брать в расчёт «обжитый», устоявшийся город, то любые попытки проектировщиков превратить таковой в произведение искусства с геометрически выверенным визуальным порядком будут не только изначально ошибочными, но и нарушат реально работающий механизм функционирования успешных городских районов.

Если посмотреть на ситуацию с этой позиции, обычная практика городского архитектурного планирования внезапно покажется по-настоящему странной. Архитектор и проектировщики вначале определяют общее видение здания или ансамбля зданий, которые они собираются строить. Это видение воплощается в чертежах и, как правило, в макетах проектируемых зданий. В газетах часто показывают сияющих городских чиновников и архитекторов, которые смотрят сверху на красивый макет, как если бы они летали над ней на вертолётах или были богами. С точки зрения обычного человека удивительно, что в жизни никто

никогда не смотрит на город с такой высоты и с такого угла. В процессе разработки плана застройки совершенно упускаются из виду наиболее вероятные ощущения реальных пешеходов, которые смотрят на город с уровня земли — зевак, глазающих на витрины, занятых людей, спешащих по делам, или бесцельно прогуливающих влюблённых парочек. В основном эти макеты представляют собой миниатюрные скульптуры, и потому неудивительно, что их так и оценивают — в соответствии с их визуальной привлекательностью, как произведения искусства, которые больше никто никогда не увидит с такой точки, если он не Супермен.

Логика моделирования и миниатюризации, характерная для официальных вариантов порядка, по моему мнению, показательна. Реальный мир беспорядочен и даже опасен. У человечества за плечами долгая история создания миниатюр для игры, контроля и манипуляции, которая легко обнаруживается в игрушечных солдатиках, машинках, моделях танков, кораблей и самолётов, кукольных домиков, игрушечных железных дорогах и так далее. Такие игрушки служат нам для вполне достойной цели — они дают нам возможность играть с тем, что заменяет реальные предметы, которые для нас либо недоступны, либо опасны, либо и то, и другое вместе. Но став взрослыми, президенты и генералы сохраняют любовь к миниатюрным игрушкам, и когда они встречаются препятствия на пути трансформации упрямого и неподатливого мира, то часто поддаются соблазну манипулировать его миниатюрными — а иногда и не очень — копиями. В результате этого получаются маленькие, относительно замкнутые утопические пространства, где возможно ближе подобраться к достижению желаемого совершенства. Потемкинские деревни, образцово-показательные города, военные поселения, образцовые хозяйства позволяют политикам, чиновникам и специалистам создавать строго ограниченные экспериментальные пространства, в которых количество переменных и неизвестных сводится к минимуму. В крайнем случае, когда контроль максимален, а воздействие на окружающий мир минимально, они становятся музеями или тематическими парками. Эксперименты и должны ставиться на опытных фермах и образцовых городах, чтобы с минимальным риском опробовать идеи, касающиеся производства, дизайна и общественного устройства, а затем, в зависимости от того, насколько они удачны, перенести их в реальный мир или отказаться от них.

Однако столь же часто в случае с «дизайнерскими» столицами (такими, как Вашингтон, Санкт-Петербург, Додома, Бразилиа, Исламабад, Нью-Дели, Абуджа) эти эксперименты становятся самостоятельными архитектурными и политическими явлениями, вступающими в противоречие, зачастую намеренное, с окружающей средой. Акцент на строгую визуальную эстетику, составляющий основу таких городов, обычно приводит к появлению незаконных поселений и трущоб, кишящих сквоттерами — людьми, которые чаще всего подметают полы, готовят пищу и присматривают за детьми власть имущих, работающих тем временем в богатом и обустроенном центре. И эта обустроенность в таком случае является чистой надутостью, потому она поддерживается усилиями тех, кто живет далеко отсюда, хотя никто и не хочет этого признавать.

# Фрагмент 9. Хаос, прячущийся за порядком

“ Править большим государством — как готовить маленькую рыбку.

Дао дэ Цзин

Социальное или экономическое устройство паразитирует на неформальных процессах, которые оно формально не признаёт, но без которых не может существовать и которые оно не в состоянии создавать или поддерживать само. И чем более это устройство формализовано, распланировано и отрегулировано, тем беспомощнее оно в реальной жизни. Показательным примером является обучение детей языку. Они начинают не с заучивания правил грамматики и их использования для построения предложений, а с того, что учатся говорить так же, как и ходить: через подражание, методом проб и ошибок и бесконечной практикой. Правила грамматики — это закономерности, которые можно выделить в правильной речи, а не причина правильности речи.

Пролетариат неоднократно использовал нестыковки в общественном устройстве для демонстрации истинного его облика и успешно применял их с пользой для себя. Так, когда парижские таксисты бывали недовольны новыми тарифами или порядками, введенными городскими властями, они начинали так называемую «итальянскую забастовку» (*grève du zèle*): сговорившись, они все внезапно начинали дотошно следовать абсолютно всем правилам дорожного движения, что, как и следовало ожидать, приводило к коллапсу. Зная, что дорожное движение в Париже существует исключительно благодаря постоянному и продуманному нарушению многих правил, для того, чтобы его остановить, достаточно было всего лишь перестать их нарушать — такую забастовку еще называют «строго по инструкции». Во время продолжительной итальянской забастовки сотрудники корпорации Катерпиллар вместо того, чтобы следовать рациональным схемам, к которым они давно пришли в процессе труда, принялись досконально следовать неэффективным инструкциям, разработанным инженерами, зная, что компания понесет из-за этого урон во времени и в качестве. Какими бы подробными ни были правила, они не смогут адекватно объяснить рабочий процесс ни в одном офисе, ни на одной стройплощадке, ни в каком цеху. Работа движется только благодаря неформальному, но эффективному взаимопониманию и импровизации за рамками правил.

Ярким примером того, как закоснелые производственные нормы поддерживались на плаву только благодаря неформальным договоренностям, полностью уходящим за рамки официальных схем, были плановые экономики социалистического лагеря до падения Берлинской стены в 1989 году. На одной заурядной восточногерманской фабрике было два незаменимых сотрудника, которые даже не значились в штатном расписании. Один из этих работников — «мастер на все руки» — мог хотя бы на некоторое время обеспечить работу механизмов и станков, исправляя производственные огрехи и изготавливая запчасти взамен

вышедшим из строя деталям. Второй на деньги фабрики закупал ценные и долго хранящиеся товары (например, стиральный порошок, качественную бумагу, хорошее вино, пряжу, лекарства, модную одежду), когда таковые попадали в продажу, а затем, когда предприятию позарез нужны были какие-нибудь станки, детали или сырье, не предусмотренные разнарядками, но необходимые для выполнения планов и получения рабочими премий, этот сотрудник складывал припасы в «Трабант» и отправлялся менять их на нужные фабрике ресурсы. Если бы не было таких неформальных договоренностей, производства остановились бы.

Все мы, подобно городским чиновникам, глядящим сверху вниз на изготовленный архитектором макет нового района или здания, склонны ошибочно ставить знак равенства между визуальным порядком и удобством для работы, как и между визуальной сложностью и беспорядком. Это естественная и, как я полагаю, серьезная ошибка, в большей степени свойственная модернизму. Достаточно лишь немного подумать, чтобы понять, насколько сомнительно такое сопоставление. Неужели школьники, которые носят форму и сидят за аккуратно расставленными партами, учатся лучше тех, кто обходится без формы и сидят на полу или за одним столом? Знаменитый критик современного городского планирования Джекобс предупреждала, что вычурная сложность успешного многофункционального района не эквивалентна хаосу и беспорядку, как считали многие архитекторы: да, она не была распланирована заранее, но представляет собой продуманный и устойчивый порядок. Падающие осенние листья, петляющие следы кролика, внутреннее устройство самолетного двигателя или редакция популярной газеты — отнюдь не хаос, но сложный функциональный порядок. Если понять логику и цель этих явлений, они предстают в ином свете, и отражают соответствующее их функциям устройство.

Пример такого порядка — устройство полей и садов. Современное «научное» сельское хозяйство предпочитает большие, капиталоёмкие поля, засеянные одной культурой, часто стандартизации ради гибридной или клонированной, и расположенной ровными рядами для удобства обработки и сбора урожая. При этом для создания максимально благоприятных и идентичных условий для этой единственной культуры используются удобрения, ирригация, пестициды и гербициды. Этот общий режим растениеводства можно применять в разных условиях, и он работает достаточно хорошо для «пролетарских» культур: пшеницы, кукурузы, хлопка и сои, которые терпят суровое обращение.

Стремление сельского хозяйства такого рода подняться над особенностями местных почв, ландшафтов, рабочей силы, инструментов и погоды делает его полной противоположностью традиционной агрокультуре. Огород, построенный по западному образцу, имеет много характерных особенностей: на нём представлено много видов растений, обычно высаженных ровными рядами, в каждом из которых находится только одна культура, и всё это выглядит очень похоже на полк, стоящий навтыжку во время парада. Огородники зачастую гордятся визуальным порядком на своём участке, а мы вновь видим яркий акцент на визуальную правильность при взгляде сверху и извне.

Сравним это, допустим, с тем, как возделывали сельскохозяйственные культуры жители тропической Западной Африки, с которыми распространители сельскохозяйственных знаний из Великобритании встретились в XIX веке. Англичане были в шоке. На первый взгляд

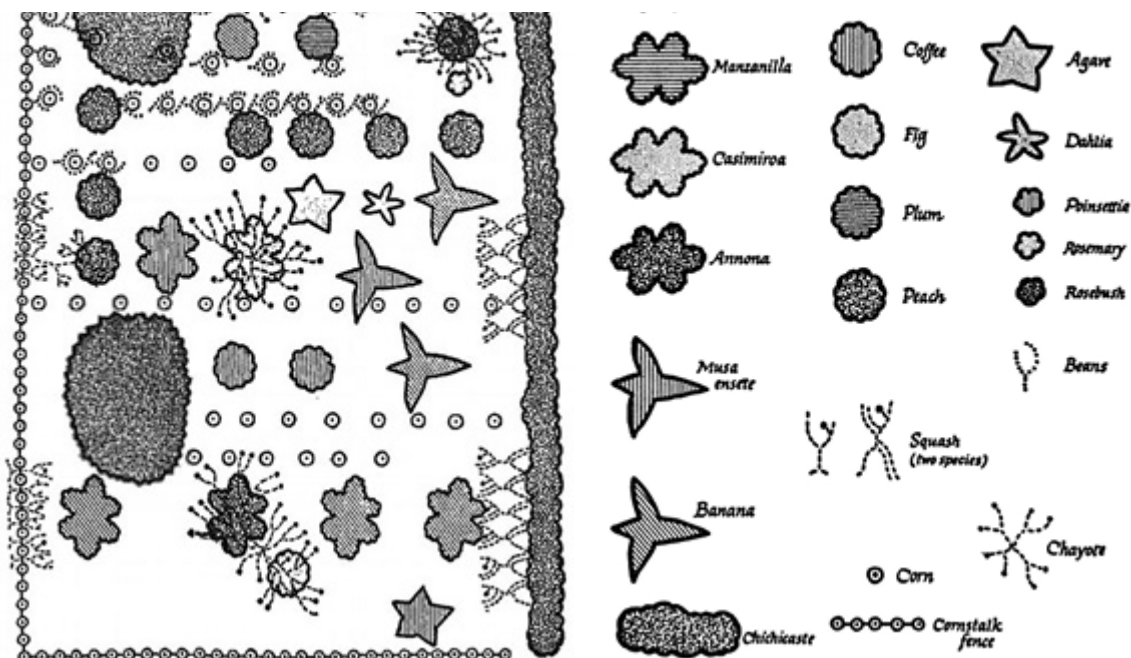
казалось, что на полях царит хаос: на них одновременно росло два, три, а иногда и четыре вида растений, и часто растения разных видов росли одно за другим, перемежаясь то тут, то там маленькими островками воткнутых в землю палок и небольшими холмиками, расположенными, казалось, в случайном порядке. Поскольку для западного человека такие поля являли собой ярчайший пример беспорядка, для него вполне естественным было предположить, что и сами крестьяне тоже невнимательны и беспечны. Распространители знаний о сельском хозяйстве немедленно принялись учить их правильным, «современным» методам ведения хозяйства, и только спустя около трёх десятилетий взаимных обид, раздражения и провалов западные люди попытались сравнить достоинства обеих систем ведения сельского хозяйства в условиях Западной Африки с научной точки зрения. Оказалось, что «беспорядок» на полях при традиционной системе представлял собой сельскохозяйственную технологию, прекрасно адаптированную к местным условиям. Использование нескольких культур и их чередование на одной грядке служили почве надежной защитой от эрозии и позволяли использовать осадки круглый год и по максимуму. Одно растение давало другому питательные вещества или служило тенью, насыпи и холмики предотвращали овражную эрозию, а сами культуры были распределены на поле таким образом, чтобы минимизировать влияние паразитов и болезни.

Эти были не только привычные методы возделывания земли — урожайность при их использовании тоже была выше, чем в случае с растениями, выращенными согласно западным методам. Ошибка пропагандистов от агротехники заключалась в том, что они поставили знак равенства между визуальным порядком и эффективностью с одной стороны и визуальным беспорядком и неэффективностью — с другой. Колонизаторы отличались чуть ли не религиозным упованием на геометрически правильное расположение посевов, тогда как жители Западной Африки разработали успешную систему ведения сельского хозяйства без учёта геометрии.

Эдгар Андерсон, ботаник, интересующийся историей выращивания маиса в Центральной Америке, наткнулся на огород в Гватемале, который продемонстрировал, как за визуальным хаосом скрывается хорошо отлаженный эффективный порядок. По дороге к маисовым полям он увидел нечто, что вначале показалось ему заросшей кучей компоста. Только увидев, как кто-то работает на этой куче компоста, он понял, что это не просто кусок земли, а прекрасно продуманный огород, несмотря на – а вернее, благодаря — визуальному беспорядку с точки зрения европейца.

Я вряд ли смогу описать этот огород лучше Андерсона, поэтому позволю себе привести длинную цитату из его книги, в которой рассказывается о логике этого огорода, а также взять из этого же источника схему расположения растений.





“ «Хотя на первый взгляд этот огород кажется хаотичным, когда мы начали рисовать его план, то поняли, что растения посажены достаточно ровными перекрестными рядами. Здесь росли разнообразные фруктовые деревья, как местные, так и европейские: аноны, черимойи, авокадо, персики, айвы, сливы, смоковница и несколько кустов кофе. Росло здесь и несколько гигантских съедобных кактусов, а также розмарин, рута, пуансеттия и вьющаяся чайная роза. Дальше шёл целый ряд местного боярышника, из похожих на жёлтые игрушечные яблоки плодов которого делают вкусные консервы. Была там и кукуруза двух сортов — одна уже почти вызревшая и теперь служившая как шпалера для только начинающей спеть вьющейся фасоли, и другая, гораздо выше, которая выбрасывала метёлки, и невысокие банановые кустики с гладкими широкими листьями, отлично заменяющими местным жителям оберточную бумагу и использующимися для приготовления местного варианта острого тамале. По ним вились буйные побеги нескольких тыквенных культур. Когда чайот созрел окончательно, его корень весит несколько фунтов, и яма размером с небольшую ванну из-под выкопанного недавно такого корня служила свалкой и компостной ямой. В конце сада стояли маленькие ульи, сделанные из ящиков и консервных банок, и таким образом, в американских и европейских терминах этот земельный надел был одновременно огородом, фруктовым садом, компостной кучей и пасеккой. Эрозия была ему не страшна: он располагался на вершине пологого склона, и поверхность почвы была практически полностью покрыта, пребывая в таком состоянии большую часть года. В

сухой сезон здесь сохранялась влага, а растения одного сорта были изолированы друг от друга посредством посадки, и потому вредители и болезни не могли распространяться от растения к растению. Урожайность была высока, поскольку, кроме отходов, в междурядья закапывались отцветшие и уже ненужные растения.

Европейцы и их американские потомки часто говорят, будто время для индейцев ничего не значит. Этот индейский огород показался мне отличным примером эффективного времяпрепровождения, причем куда более разумного, чем наше. Непрерывно созревавший урожай не требовал особых усилий — убирая кабачки, можно было попутно выполоть несколько сорняков, а после уборки бобов закопать их стебли между рядами и спустя несколько недель что-нибудь на этом месте посадить» [15].

## Фрагмент 10. Заклятый враг анархистов

На протяжении последних двух столетий привычные устои рушились с такой скоростью, что следовало бы называть это их массовым вымиранием — чем-то сродни ускоренному исчезновению видов. Причина этого вымирания аналогична биологической: утрата мест обитания. Многие порядки оказались навсегда утрачены, остальные же попали под угрозу, и главный виновник которого — не что иное, как государство, в частности, современное национальное государство, заклятый враг анархистов. Его развитие и повсеместное распространение вытеснило, а затем и уничтожило множество прежних форматов политического устройства: рода, племена, вольные города и их союзы, кочевые общины и империи. На их месте теперь повсюду лишь одна форма политического устройства — сформировавшееся в XVIII веке североатлантическое национальное государство, притворяющееся универсальным. Большое видится на расстоянии: куда бы мы ни поехали, повсюду одно и то же — государственный флаг, государственный гимн, государственные театры и оркестры, главы государств, парламенты (настоящие или декоративные), центральные банки, наборы министерств, организованные похожим образом, органы безопасности и так далее. В распространении такого формата управления сыграли свою роль колониальные империи и «модернистское» подражание, а его непотопляемость обусловлена универсальностью институтов, посредством которых властная структура может интегрироваться в существующие международные политические системы. До 1989 года существовало два полюса для подражания. В странах соцлагеря, будь то Чехословакия или Мозамбик, Куба или Вьетнам, Лаос или Монголия, можно было обнаружить примерно одинаковые органы централизованного планирования, колхозы и пятилетки. После 1989 года во всем мире, за небольшими исключениями, существует единый стандарт.

Немедленно после своего возникновения национальное государство принимается делать население однородным и искоренять различия, проистекающие из прежних устоев.

Практически всюду государство начинало создавать нацию: Франция создавала французов, Италия — итальянцев, и такое национальное строительство подразумевало обеспечение однородности. Великое множество языков и диалектов, часто взаимно непонятных, приводились, во многом благодаря школе, к общему знаменателю — стандартизированному государственному языку, создававшемуся чаще всего на основе диалекта столичного региона. Это приводило к исчезновению письменности и местной литературы, устной и письменной, музыки, легенд и мифов — целых смысловых вселенных. Разнообразие местных законов и обычаев сменила общегосударственная, унифицированная, по крайней мере, в теории, юридическая система. Все прежние способы возделывания земли были забыты в угоду общегосударственной системе землевладения с регистрацией прав и их переходом от субъекта к субъекту, которые таким образом пытались уйти от налогов. Все локальные образовательные традиции, как то обучение подмастерьев, странствующие «педагоги», церковные школы и неформальные занятия — заменила общенациональная система школьного образования, которая позволяла, например, министру образования Франции хвастаться тем, что он знает, какой абзац из Цицерона учащиеся определенного класса по всей стране изучают, например, в 10:20. Такое единообразие было труднодостижимой утопией, однако в попытках достичь его удавалось добиться стирания местных обычаев.

В наши дни стандартизацию лоббируют не столько национальные государства, сколько международные организации — Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО, даже ЮНИСЕФ и Международный трибунал, — и главная их цель состоит в распространении нормативов («передового опыта»), опять-таки родом из североатлантических стран, по всему миру. Финансовая мощь этих организаций такова, что неподчинение их рекомендациям влечёт за собой чувствительные наказания в виде неполучения займов и гуманитарной помощи. Для процесса институционального согласования ныне используют милый эвфемизм «гармонизация».

Не менее важную роль в процессе стандартизации играют и транснациональные корпорации. Им тоже по душе привычная и однородная космополитичная атмосфера, в которой имеются единая нормативно-правовая база, законодательство для бизнеса, валютная система и так далее. Продавая и рекламируя свои товары и услуги, корпорации постоянно формируют вкусы и потребности потребителей по всему миру.

Впрочем, об исчезновении некоторых традиций вряд ли стоит печалиться. Типичный образ французского гражданина, пришедший на смену традиционным формам патриархальной зависимости и завещанный нам Французской революцией, стал шагом на пути к освобождению. Такие технические новинки, как спички и стиральная машина, сделали ненужными огниво и стиральные доски, что значительно облегчило труд домохозяек. Так что не стоит бросаться на защиту устоев и шельмовать всеобщую универсализацию.

Однако сама стандартизация не столь щепетильна. Она склонна приводить на смену местным обычаям те, которые она называет универсальными, но которые на самом деле, как мы уже говорили, в большинстве случаев взяты у североамериканских коренных народов и переделаны на североатлантический лад. Результатом этого становится колоссальное уменьшение культурного, политического и экономического разнообразия, смешение языков, культур, форм собственности и политической власти, и самое главное — лежащей в их

основе картины мира. Можно без труда представить, как в недалёком будущем бизнесмен из какой-либо североатлантической страны, сойдя с трапа самолёта в любой точке земного шара, обнаружит там те же законы и правила (ведения ли бизнеса, дорожного ли движения), те же министерства, те же контролирующие органы — в общем, всё, к чему он привык у себя на родине. А почему нет? Ведь эти формы в сущности — его собственные. Аутентичными останется лишь кухня, музыка и народные танцы, экзотические, но поставленные при этом на коммерческую основу и превратившиеся в товар.

# Глава 3. Человеческое производство

“ Великий Путь очень ровен,  
Но люди любят горные тропы.

Дао дэ Цзин

## Фрагмент 11. Игра и открытость

В не предвещавшем ничего хорошего 1943 году архитектору, работавшему в производственном жилищном кооперативе в районе Эмдруп датской столицы, пришел в голову замысел новой детской площадки. Опытный проектировщик, создавший немало подобных игровых зон, он заметил, что большинство детей склонны пренебрегать тем минимумом возможностей, которые дают им качели, карусели и горки, в пользу приключений на улице, норовя пробраться на стройплощадки или в заброшенные здания и играть там. И он придумал пустую стройплощадку — с песком и гравием, с брёвнами, лопатами, гвоздями и другими инструментами, которую и подарил детям.

Новинка обрела невиданную популярность. Возможности, которая она сулила, были настолько обширны и занимательны, что толпами осаждавшие её дети шумели и дрались здесь гораздо меньше, чем в привычных местах для игр.

Сногсшибательный успех «детской площадки приключений» в Эмдруп подтолкнул других архитекторов к попыткам повторить проект в других местах: в Свободном городе Христиании в Стокгольме, на «Площадке» в Миннеаполисе, на других «строительных детских площадках» в самой Дании и на детских площадках «Робинзон Крузо» в Швейцарии, где детям давали в руки инструменты, чтобы они могли строить собственные скульптуры и разбивать сады (рис. 3.1).

Но вскоре после открытия в Миннеаполисе возникла проблема иного рода: стремясь как можно быстрее построить самую большую хижину, дети собирали и прятали материалы и инструменты. Среди них вспыхивали ссоры и драки, и в один отнюдь не прекрасный день работа на площадке и вовсе остановилась. Казалось, не обойтись без вмешательства взрослых, которым необходимо было взять руководство в свои руки, но спустя всего несколько дней подростки, знавшие, где прятали большую часть этих замечательных игрушек, организовали «освободительный рейд», забрав инструменты и материалы и

организовав систему совместного пользования ими. В результате проблема обеспечения инвентарём была решена; более того, в процессе решения было создано новое сообщество. Следует добавить, что эта суперпопулярная детская площадка удовлетворяла творческие потребности большинства детей, но никоим образом не соответствовала стандартам визуального порядка и красоты, на которые рассчитывали взрослые создатели таких мест досуга. Здесь эффективный порядок в очередной раз взял верх над порядком визуальным. Конечно же, форма построек на площадке менялась каждый день: их разрушали и строили заново. Детская площадка приключений, пишет Колин Уорд, это своего рода иллюстрация анархии, свободное общество в миниатюре с его трениями и постоянно изменяющимися договорённостями, с его разнообразием и внезапностью, с непринуждённостью сотрудничества и раскрытия спящих личностных качеств и чувства локтя [16].

Я припоминаю посещение проекта по расселению трущоб, запущенный одной НКО в Бангкоке. В этом проекте использовался в сущности такой же подход: не только строить жильё для обитателей этих ужасных гетто, но и организовать вокруг этого политическое движение. НКО начала с того, что убедила местные власти выделить им крошечный участок земли в районе трущоб. Затем организаторы нашли пять или шесть семей, которые готовы были сотрудничать друг с другом при постройке мини-поселения. Сквоттеры сообща выбирали материалы, определялись с базовой планировкой и проектом, договаривались о производстве работ. У каждой семьи был свой участок ответственности, такой же по объёму, как и у остальных, и на всё это у них было два-три года, потому строить им приходилось в свободное от других дел время. Ни одна из семей не знала, какую именно часть здания займёт после окончания строительства, поэтому все были равно заинтересованы в добросовестности и качестве на каждом этапе строительства — кроме домов, участникам проекта предстояло также благоустройство их малюсенького общего двора.

К моменту окончания строительства работ у них уже, хоть и не без трений, но выработалось понимание совместной работы. Тем более, что теперь у этих семей была собственность, созданная непосредственно их руками, к которой они были равнодушны и в процессе строительства которой они научились работать вместе. Эти мини-общины впоследствии и стали центрами притяжения, обеспечившими успех движения сквоттеров.

Притягательность же игровой площадки в Эмдруп, которая стала очевидной постфактум, проистекала из её открытости по отношению к целям, творческим способностям и энтузиазму детей. Это место было задумано незавершённым, открытым к переменам. Предполагалось, что окончательный вид этой площадки будет зависеть исключительно от непредсказуемости играющих на ней детей. Можно сказать, что её создатели скромно признали свою неспособность предугадать, что у детей на уме, что они могут придумать, как они будут работать вместе, и как будут развиваться со временем их надежды и мечты. За исключением предположения, что у детей было желание что-то мастерить — предположения, основанного на наблюдениях за тем, что в действительности интересовало детей, — и обеспечения потребности в материалах и инструментах, эта игровая площадка была открытой и самодостаточной, а участие взрослых в её функционировании было минимальным.

С помощью этих критериев можно оценить практически любое взрослое учреждение. Насколько оно открыто по отношению к целям и способностям тех, кто его населяет? С качелями или горками можно придумать совсем немного игр, и дети уже давно все их знают! По сравнению с традиционной детской площадкой открытая стройплощадка открывает гораздо больше возможностей. Стандартные комнаты общежития, все одинакового цвета, привинченные к полам или стенам койки и столы — это закрытые структуры, не способствующие проявлению воображения и фантазии студентов. Напротив, помещения со свободной планировкой, модульной мебелью разных цветов и помещениями, которые можно использовать с разной целью, куда более вдохновляют тех, кто в них живет — иногда жилище можно и нужно проектировать с учётом предпочтений жильцов.

На территории одного известного университета была большая лужайка. На ней специально не стали делать пешеходные дорожки. Со временем тысячи пешеходов протоптали дорожки через это открытое пространство, которые оставалось лишь замостить. Эта ещё одна иллюстрация к высказыванию Чжуан-цзы «Путь создаётся ходьбой».

Открытость той или иной деятельности или учреждения проверяется в том, насколько её форма, цели, задачи и правила могут изменяться сообразно желаниям участвующих в этом людей. Для иллюстрации данного тезиса хорошо подойдёт краткое сравнение двух военных мемориалов. Судя по количеству и частоте посещений, один из самых известных когда-либо построенных военных памятников — это, без сомнения, вашингтонский Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме. Он был спроектирован Майей Лин и установлен на возвышенной местности в виде невысокой, но длинной стены чёрного мрамора, на которой высечены имена павших солдат и офицеров. Причём сведения эти специально указаны в хронологическом порядке, а не по алфавиту, по званиям или принадлежности к той или иной воинской части — так можно прочесть, кто погиб в один и тот же день и часто в одном и том же бою. Больше об этой войне не говорится ничего — нет ни одной надписи, ни одной скульптуры, и с учетом до сих пор кипящих из-за войны во Вьетнаме страстей эта немота не вызывает удивления.



Однако примечательнее всего то, как действует Мемориал на посетителей, особенно на тех, кто пришёл сюда, чтобы почтить память товарища или любимого. Вначале им нужно найти имя этого человека среди тысяч других; затем они обычно касаются высеченного на стене имени, водят по нему руками и оставляют возле стены что-нибудь на память — от стихов и женских туфель на шпильках до бокала шампанского и набора покерных карт. Посетители уже оставили возле стены столько, что для хранения всего этого был создан специальный музей. Вид множества людей, стоящих вдоль стены и касающихся дорогих им имен погибших солдат и офицеров, неизменно трогает наблюдателей вне зависимости от того, как они относятся к самой войне во Вьетнаме.

Я думаю, что силой своей художественной выразительности этот памятник обязан тем, что он способен увековечить память павших с открытостью, позволяющей каждому посетителю наполнить его своим собственным смыслом, своей собственной историей, своими собственными воспоминаниями. Можно сказать, что этот монумент буквально требует участия, и хотя этот монумент невозможно уподобить тесту Роршаха, он в куда большей степени наполняется смыслом, который в него привносят люди, чем то, что он навязывает. Конечно, по-настоящему космополитичный памятник павшим должен был бы вместе с американцами в хронологическом порядке перечислить и всех павших вьетнамских гражданских и военных лиц, но для такого монумента потребовалась бы стена во много раз длиннее, чем эта.

Можно сравнить этот вьетнамский мемориал с другим, причем другим во всех смыслах американским военным памятником — скульптурой, изображающей подъём американского флага на вершине горы Сурибачи после победы в сражении при Иводзиме во время Второй



мировой войны. Этот мемориал, по-своему трогательный и напоминающий о моменте окончательной победы над Японией, достигнутой ценой огромного числа жизней, отличается очевидным героическим пафосом. Его выраженный патриотизм, который олицетворяет флаг, его воинственная тематика, его несоразмерный человеку масштаб и подспудно присутствующая тема единства в победе не оставляют места для того, чтобы зритель мог добавить что-то своё. Поэтому с учётом единодушия, с которым эта война воспринимается в Соединенных Штатах, едва ли удивительно, что Мемориал павшим в Иводзиме столь масштабен и откровенен.

Хотя Мемориал павшим в Иводзиме и не «законсервирован» абсолютно, с символической точки зрения он, как и большинство военных памятников, более самодостаточен. Посетители могут лишь пассивно взирать на образ, благодаря многочисленным фотографиям и скульптурам олицетворяющий войну в Тихом океане, но не участвовать в наполнении его смыслом.



По сравнению с войной и смертью приведённый ранее пример с игрой кажется тривиальным. В конце концов, у игры нет иной цели, кроме удовольствия и наслаждения самой игрой. Игра успешна и даже эффективна в той мере, в какой игроки считают её более интересным занятием, чем остальные дела, которыми они могли бы заниматься в данный момент. И вместе с тем игра глубоко поучительна, так как выходит, что открытость и неструктурированность игр такого рода по большому счёту превращают её в по-настоящему серьёзное занятие.

Все млекопитающие, и особенно Homo sapiens, проводят значительное количество времени в кажущейся бесцельной игре. Помимо всего прочего, именно посредством видимого хаоса игры, включая беспорядочные движения, они развивают координацию и физические способности, осуществляют эмоциональную регуляцию, повышают уровень социализации, приспособляемость, ощущают принадлежность к группе, экспериментируют, учатся социальным сигналам и доверию. Важность игры выясняется немедленно, если удалить её из поведенческого репертуара млекопитающих, включая Homo sapiens — эффект может быть катастрофическим. Лишенные игры млекопитающие никогда не вырастают успешными, а люди, испытывавшие игровую депривацию, намного более склонны к антиобщественным поступкам, насилию, депрессии и тотальному недоверию. Стюарт Браун (Stuart Brown), основатель Национального института изучения игры (National Institute for the Study of Play) начал задумываться о важности игры, когда впервые осознал, что общей характеристикой наиболее жестоких и антиобщественных личностей была игровая депривация на каком-то этапе их биографии. Наряду с двумя другими якобы бесполезными видами человеческой деятельности — сном и мечтаниями — игра является основополагающей как в социальном, так и в физиологическом смысле.

## Фрагмент 12. Что тут непонятного, глупыш? О непредсказуемости и приспособляемости

Понятие эффективности, по-видимому, противоречит характерной для игры открытости. После того, как цель какой-то деятельности — создание автомобилей, бумажных стаканчиков, листов фанеры или электрических лампочек — четко определена, зачастую оказывается, что существует единственный (по крайней мере, в сложившихся условиях) наиболее эффективный способ добиться этой цели. Если регламент работы некоего учреждения или предприятия цикличен, стабилен и предсказуем, то перечни и распорядки могут оказаться исключительно эффективными и вследствие этого закрытыми для изменений.

Такой подход к «эффективности» имеет как минимум два недостатка. Первый и наиболее очевидный заключается в том, что в большинстве экономик и вообще в человеческих отношениях такие статичные условия являются скорее исключением, чем правилом, и, когда условия заметно меняются, такие действия, вероятно, станут непригодными. Чем шире спектр умений конкретного индивида и чем выше уровень его обучаемости, тем вероятнее, что он сможет приспособиться к совершенно новому для него перечню действий, что, в свою очередь, приведет к большей жизнеспособности организации, состоящей из таких индивидов. Их приспособляемость и широта взглядов служат некой страховкой от непредсказуемой внешней среды — и для самих индивидов, и для их организаций. В широком смысле, это было, вероятно, самым важным преимуществом Homo erectus перед его конкурентами-приматами: впечатляющая способность адаптироваться к капризной среде и в конечном итоге способность контролировать эту среду.

В важности приспособляемости и широкого кругозора я наглядно убедился благодаря короткой статье о правильном питании, пришедшей в почтовой рассылке университета, в котором я работаю. В ней говорилось о том, что за прошедшие пятнадцать лет ученые открыли немало веществ, которые сейчас считаются необходимыми для здоровья. Конечно, я знал об этом и раньше. Но затем автор статьи, как мне показалось, высказал свое собственное наблюдение (которое я перефразирую здесь): «Мы предполагаем, что в ближайшие пятнадцать лет нам удастся обнаружить множество новых необходимых элементов здоровой диеты, о которых мы пока не знаем». В продолжение этой мысли в статье утверждалось следующее: «В свете вышесказанного мы советуем вам питаться как можно разнообразнее — в надежде, что вы сможете получить эти неизвестные вещества с пищей». Таким образом, эти рекомендации были основаны на постулате о нашем незнании будущего.

Второй недостаток устоявшегося представления об эффективности состоит в том, что оно полностью игнорирует факт её зависимости от предела терпения работников. Завод по сборке автомобилей в Лордсвилле, штат Огайо, принадлежащий компании «Дженерал Моторс», на момент его постройки был оборудован самыми совершенными конвейерами. Процесс сборки автомобиля был разбит на тысячи отдельных элементов и являлся примером фордистской эффективности. Цеха были хорошо освещены и оборудованы кондиционерами, в них царила идеальная чистота и звучала заглушающая грохот механизмов музыка, и даже перерывы тоже были предусмотрены. Но в угоду эффективности скорость конвейера на этом заводе была самой высокой, какую только можно было представить, что требовало беспрецедентного ускорения рабочего ритма. Рабочие сопротивлялись такой системе как могли, и нашли способы остановить конвейер посредством незаметных на первый взгляд актов саботажа. Обиженные и разгневанные, они обильно портили детали, и процент брака, подлежащего замене, рос невиданными темпами. В конце концов, руководству пришлось перенастроить конвейер и замедлить его до нормальной скорости. Для целей этой книги важно подчеркнуть, что неэффективными все усилия корпорации сделало именно сопротивление рабочих бесчеловечной скорости конвейера.

В неоклассической экономике такого понятия, как эффективность труда, не подразумевающая создания условий, приемлемых для рабочей силы, не существует. И потому, если рабочие не желают подчиняться дисциплине рабочего плана, то своими действиями они могут свести его эффективность на нет.

## Фрагмент 13. ВЧП: валовый человеческий продукт

Интересно, почему до сих пор никто не попытался сформулировать вопрос о том, как работают производительные силы и средства производства не с точки зрения цены единицы продукции, что слишком утилитарно, а как-нибудь по-другому? Например, какие человеческие качества формируют эти силы и средства? Ведь любая деятельность, какую только можно себе представить, и любая организация вне зависимости от заявленной ею

цели обязательно изменяет людей, пусть даже и вопреки их желанию.

Что будет, если вообще вынести за скобки цель и способ её достижения и обратить внимание на человеческий продукт? Способов оценить вклад личности в результат коллективных действий существует великое множество, и потому создать алгоритм и единицу измерения «валового человеческого продукта», или ВЧП, которую можно было бы сопоставить с используемым экономистами и измеряемым в денежных единицах ВВП, будет очень непросто.

Однако, презрев эти трудности и попытавшись все-таки это сделать, мы в итоге упрёмся в две возможности: либо учитывать степень влияния производственных процессов на человека, его умения и навыки, либо же отталкиваться от того, как сам человек оценивает своё отношение к работе. Первый подход, по крайней мере, в теории, может дать некий эмпирический материал: что, например, если мы применим его к оценке конвейерного производства — повлияет ли это на навыки рабочего на линии где-нибудь в Лордсвилле или Ривер-Руже? Подозреваю, что шансы на это ничтожны: ведь весь смысл анализа времени и движений, лежащий в основе разделения труда на конвейере, заключается в разделении производственного процесса на множество легко усваиваемых этапов. Процесс этот и был специально спроектирован для того, чтобы убрать из производственного цикла ремесленничество и лишить квалифицированных специалистов их власти над собственником средств производства, которой те обладали в доиндустриальную эпоху.

Конвейер же предполагал использование неквалифицированной, стандартизированной рабочей силы, где любой участник цепочки может быть заменен без особых затруднений. Иными словами, он зависел от того, что мы с полным основанием можем назвать «отупением» рабочей силы. Если рабочий совершенствовал собственные знания и умения, то он либо делал это в свободное время, либо исхитрялся нарушить планы руководства, как это было в Лордсвилле. И всё же если бы мы оценивали работу на конвейере по степени её положительного влияния на развитие человека, вне зависимости от того, насколько эффективно организовано производство автомобилей, она получила бы неудовлетворительные оценки.

Более полутора веков назад Алексис де Токвиль, комментируя приведенный Адамом Смитом классический пример разделения труда, задал ключевой вопрос: «Чего можно ожидать от человека, который провел двадцать лет за изготовлением булавочных головок?» [17]

В экономике есть понятие эффекта дохода и замещения «по Хиксу», названного так по фамилии британского экономиста Джона Хикса. Он использовался в ранней версии экономики благосостояния, при которой доход по Хиксу накапливается, только если средства производства, особенно земля и труд, не деградировали в процессе производства. Если они деградировали, это означало, что следующий производственный цикл вынужденно начнется в ухудшившихся условиях. Так, если технология сельскохозяйственного производства приводит к истощению почвы (что иногда называется «чрезмерной эксплуатацией почв»), это истощение уменьшает доход по Хиксу. Таким же образом, любой тип производства, подобный конвейеру, истощающий таланты и способности рабочей силы, должен приводить к потерям дохода по Хиксу. Верно и другое: методы возделывания почвы,

способствующие увеличению содержания в ней питательных веществ, равно как и способы производства, которые расширяют круг знаний и умений рабочей силы, увеличивают доход фермера или компании по Хиксу. В формулу определения этого критерия закладывается то, что экономисты называют внешними факторами, которые могут быть как положительными, так и отрицательными, и которые редко принимаются в расчет при определении чистого дохода.

Навыки, знания, умения и прочие употребляемые здесь термины можно понимать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае, например, можно получить представление о том, насколько широким был спектр применения рабочими автозавода их предполагаемых навыков — сколько операций на конвейере они выполняют, освоили ли они заклепку и сварку, умеют ли применять технологические допуски и т. д. В широком же смысле это позволяет понять уровень квалификации рабочих: смогут ли они выполнять более сложные, в том числе управленческие функции, сумеют ли организовать собственно рабочий процесс, способны ли они вести переговоры и представлять интересы своих коллег.

Если мы рассмотрим вышеуказанное через призму демократии, то очевидно, что конвейер — это олицетворение авторитарной среды, где решения принимаются инженерами, где нет незаменимых, а все работники должны выполнять порученные задачи на уровне рефлексов. Понятно, что на самом деле до этого никогда не доходит, но это неизбежная логика конвейера, который в качестве рабочего процесса имеет отрицательный «чистый демократический продукт».

А что будет, если мы зададимся теми же вопросами в отношении школы — верховного в большинстве стран мира общественного института социализации подрастающего поколения? Этот вопрос тем более уместен в свете того факта, что общеобразовательная школа была изобретена более или менее в то же время, как и огромная фабрика под одной крышей, и эти два института являются близкими родственниками. В каком-то смысле школа стала фабрикой базового обучения арифметике и грамотности, которое было необходимо для общества, стремительно движущегося к индустриализации. Карикатурный образ директора школы Грэдграйнда, расчётливого и авторитарного, которого Чарльз Диккенс описал в романе «Тяжёлые времена», призван напоминать нам о фабрике — её производственном цикле, дисциплине, единоначалии, внешней упорядоченности и, что немаловажно, деморализации и попытках юных работников ей сопротивляться.

Конечно же, всеобщее школьное образование предназначено не только для того, чтобы готовить необходимую для промышленности рабочую силу. Оно является как экономическим, так и политическим институтом, производящим патриотов, которые по отношению к государству будут более лояльны, нежели их региональные и локальные идентичности, диктуемые им языком, этнической принадлежностью и религией. Тотальный гражданский пафос революционной Франции преспокойно соседствовал с всеобщей воинской обязанностью. Нужный уровень производства патриотов в рамках школьной системы достигался не столько прямой пропагандой в программе, сколько языком обучения, стандартизации, косвенного обучения регламентации, покорности авторитетам и порядку.

Современная система начального и среднего образования сильно изменилась под влиянием сменяющих друг друга педагогических теорий, в особенности под влиянием наплыва учеников и самой «молодежной культурой». Однако в ней всё так же безошибочно угадывается родство с фабрикой и, что особенно скверно, тюрьмой. Обязательное для всех образование, каким бы в некотором смысле демократичным оно ни было, также почти без вариантов означает и обязательное присутствие учащихся на занятиях. Сам факт того, что ученик не имеет права выбора — приходить ему на уроки или нет — и оттого не является автономным, с самого начала ставит школу в положение института принуждения со всем свойственным детям неприятием подобной жесткости, особенно когда они взрослеют.

Однако главная проблема и величайшая трагедия системы школьного образования заключается в том, что она производит почти всегда только один продукт. Эта тенденция только усилилась в последние десятилетия вследствие тенденций к стандартизации и всевозможным проверкам, тестированиям и отчётам. В результате этого мотивация учеников, учителей, директоров школ и чиновников от образования состоит в том, чтобы произвести стандартный продукт, который отвечает критериям, установленным проверяющими инстанциями.

Что это за продукт? Это определенный, узко понимаемый вид аналитических способностей, который, как считается, можно измерить тестами. Нам, безусловно, известно, что существует множество нужных и ценных для успешного общества умений, которые даже отдаленно не связаны с аналитическими способностями — это творческие способности, воображение, созидательность (то, что первые рабочие Форда принесли с собой на фабрику с фермы), вокальные и хореографические таланты, эмоциональная одарённость и социальные навыки. Некоторые из этих способностей можно реализовать в рамках факультативных занятий, прежде всего спортивных, но не во время уроков, за которые выставляется оценка и от которых так много сейчас зависит для учеников, учителей и школ. Такая односторонняя трактовка понятия «образования» доведена до совершенства в таких образовательных системах, как французская, японская, китайская и корейская, где обучение завершается одним-единственным экзаменом, от которого в значительной степени зависит будущая социальная мобильность и успешность учащихся. Стремление попасть в самые хорошие школы, найти репетитора для дополнительных занятий и посещать подготовительные курсы достигает здесь апогея.

По иронии судьбы и я, пишущий эти слова, и практически каждый, кто читает их, являются бенефициарами, победителями этой крысиной гонки. Мне вспоминается надпись на стене туалетной кабинки в Йельском университете, которую я однажды прочел. Кто-то написал: «Не забывай, даже если ты выиграл крысиные бега, ты всё равно остаешься крысой!» Кто-то другой приписал ниже: «Да, но зато победившей!»

Те из нас, кто «выиграл» в этой гонке, получили пожизненный доступ к возможностям и привилегиям, которых мы не смогли бы добиться иным способом. Вполне возможно, что многие люди склонны чувствовать своё превосходство и успешность, считая их своей заслугой и высоко оценивая эту победу, чуть ли не всю жизнь. Вынесем за скобки вопрос о том, насколько эти привилегии оправданы и насколько поднимают нас в наших глазах, и скромно заметим, что они являются социальным капиталом, который коренным образом

склоняет чашу весов финансовой и статусной мобильности в нашу пользу. Этим пожизненным преимуществом обладают в лучшем случае 20% выпускников системы образования.

Что же происходит с остальными — с теми 80%, которые эту гонку, по сути, проиграли? Они обладают меньшим социальным капиталом; чаша весов склоняется не в их пользу. Вероятно, имеет значение и то, что они всю жизнь будут чувствовать себя побеждёнными, менее ценными, или думать, что они ущербны и тугодумны. Этот системный эффект ещё сильнее склоняет чашу весов не в их пользу. И вместе с тем можем ли мы рационально обосновать, почему мы доверяем системе, которая ценит столь узкий спектр человеческих талантов и которая измеряет достижения в этом узком спектре способностью успешно сдавать экзамены?

Те, кто проваливает тесты IQ, могут быть невероятно талантливыми в одной или нескольких сферах, не изучаемых и оттого не ценящихся в школе. Что же это за система, которая пренебрегает этими талантами, которая клеймит четыре пятых своих выпускников постоянной печатью неудачников в глазах общества, а может быть, и в их собственных глазах? Стоят ли сомнительные преимущества, привилегии и возможности, которыми эта зашоренная педагогика наделяет тех, кого считают «интеллектуальной элитой», такого социального урона и растраты сил?

## Фрагмент 14. Дом призрения

Двадцать лет назад мне пришлось столкнуться с одним «попечительским» учреждением, от которого у меня до сих пор мурашки идут по коже. У меня были две тетушки, обе бездетные вдовы, жившие в доме престарелых в Западной Вирджинии неподалеку от мест, где они работали некогда учителями. Вместе с ними там жили порядка двадцати женщин, которые сами должны были одеваться и самостоятельно ходить на обед в общую столовую. Моим тетушкам было около 85 лет, одна из них неудачно упала, и поэтому ей пришлось довольно долго лежать в больнице, так как дом престарелых не соглашался её взять обратно до тех пор, пока она не встанет на ноги.

Мои тетушки понимали, что через некоторое время, когда они станут совсем немощными и им понадобится более серьёзный уход, им придётся покинуть дом престарелых и отправиться в дом призрения. Поэтому они попросили меня, их ближайшего младшего родственника, поехать по таким заведениям и узнать, где лучший уход, на который у них хватит денег. Я приехал к ним в пятницу и до вечера субботы успел посетить два более-менее пристойных дома призрения, один из которых выглядел приветливее и чище — там этот ужасный запах, пропитывающий даже лучшие больницы, ощущался не так сильно. Мне хотелось узнать, что о месте своего пребывания думают сами пациенты, и потому я принялся переходить из палаты в палату, расспрашивая их об этом. Оценки были самые положительные: пациенты хвалили уход, внимание персонала, питание и еженедельные развлечения и прогулки.

В воскресенье я снова отправился в путь, чтобы «проинспектировать» ещё два дома призрения поблизости: я надеялся до своего отъезда посмотреть шесть заведений. В одном возле приемного покоя находилась единственная медсестра. Она провела меня по больнице, всё подробно объясняя. После этого я сказал ей, что мне хотелось бы поговорить с пациентами. Зная, что я приехал по поручению моих тетушек, она сначала провела меня в палату, где находились две сестры, прибывшие в больницу годом ранее.

Представившись и объяснив им, почему мне хочется послушать об их впечатлениях, я принялся внимать их оживленному и восторженному рассказу о том, как здесь хорошо. Ещё одно подходящее место, подумал я. Как раз в этот момент на сестринском посту зазвонил телефон. Медсестра извинилась, сказав, что по воскресеньям у них не хватает работников, и побежала к телефону. Убедившись, что она уже далеко и не сможет услышать, одна из сестёр приложила палец к губам и с чувством прошептала: «Не отправляйте сюда своих тетушек ни за что на свете! Они ужасно к нам относятся». «Если мы жалуемся или просим о чём-нибудь, они кричат на нас и велят нам заткнуться». Они рассказали мне, что сотрудники, чьё недовольствие они вызывали, не купали их вовремя или долго не приносили им еду или личные вещи. Тут послышались шаги медсестры, и одна из сестёр снова приложила палец к губам, так что когда медсестра вошла в палату, мы снова разговаривали на безопасные темы.

Пока я ехал в четвёртый дом призрения, я внезапно понял, что только что наблюдал режим примитивного, пещерного террора. Судя по тому, что мне довелось услышать, пациенты больницы боялись сказать что-то неугодное для персонала из страха наказания, поскольку в руках персонала было удовлетворение их базовых потребностей. Моим тетушкам, особенно бывшей учительнице английского языка и руководительнице дебатной команды с комплексом Наполеона, в такой ситуации пришлось бы несладко. Понял я и то, что до этого случая разговоры велись исключительно при медсестре. В оставшихся четырёх домах призрения я настаивал на том, чтобы мне позволили самому посмотреть учреждение и поговорить со встреченными мной пациентами, и если мне отвечали отказом, как это было в трех из четырёх случаев, я немедленно уезжал.

В конце концов я обнаружил ещё один критерий отбора. Когда в одном из этих пансионатов я упомянул о том, что мои тетушки были учительницами, старшая сестра спросила их фамилии и воскликнула: «О, мисс Хатчинсон! Я её отлично помню: она учила меня английскому в старших классах. Она была строгой, но я помню, как она приглашала всех нас на свою ферму в Сэндивилле». Я подумал, что раз уж моя тетья была «мисс Хатчинсон, наша учительница английского», а не немощной безымянной восьмидесятилетней старушкой, я мог надеяться на лучший и более внимательный уход, который в идеале распространится и на её сестру. Надежда была на то, что эта медсестра не настолько сильно запомнила наполеоновский комплекс моей тети Элинора, чтобы устроить для неё остров Святой Елены.

Мне было невыносимо думать, что мои тетушки, много лет пользовавшиеся авторитетом и властью, с которыми нельзя было не считаться, в последние годы своей жизни вынуждены будут жить в вечном унижении, страхе и молчании. Невозможно было игнорировать сюсюканье, с каким перегруженные сестры обращались со своими подопечными: «Дорогуша, пора принять таблеточки, как поступают все хорошие девочки».



Нетрудно представить, какой основательной может быть «институционализация личности» и как из-за полной физической зависимости от перегруженного и низкооплачиваемого персонала престарелые люди могут впадать в детство. Дом призрения, подобно тюрьме, монастырю и казарме, тоже является «тоталитарным» учреждением, обладающим огромной силой, которой практически невозможно противостоять и не начать приспосабливаться к давлению среды.

## Фрагмент 15. Патологии общественного бытия

Мы проводим немало времени в среде общественных институтов: в семье, в школе, в армии, на предприятии. Эти учреждения во многом формируют наши ожидания, наши личности и нашу повседневную жизнь. Учитывая, что их много, они разнообразны и находятся в постоянном движении, есть ли у нас что сказать о кумулятивном эффекте, который они на нас оказывают?

Думаю, да, хотя формулировка и неточна. Первое, что бросается в глаза — это то, что после промышленной революции и стремительной урбанизации всё больше людей лишились имущества, а их жизнь попала в зависимость от крупных иерархически выстроенных организаций. Крестьянин или лавочник мог быть таким же бедным и неуверенным в завтрашнем дне, как и пролетарий, однако он не обязан был постоянно и неукоснительно следовать указаниям управляющих, начальников и бригадиров. Даже арендатор, пребывающий во власти капризов латифундиста, или мелкий землевладелец, погрязший в долгах и кредитах, мог распоряжаться своим рабочим днём и сам решать, когда сеять, как обрабатывать землю, когда собирать и продавать урожай и т. д. Сравните его с рабочим на заводе, который работает с 8 утра до 5 вечера, принаравливаясь к ритму машины, и за которым внимательно наблюдают — как непосредственно, так и с использованием технических средств. Даже в сфере обслуживания темп работы, требования и контроль на работе значительно превосходят любой надзор, учреждённый за каким-нибудь мелким, но независимым предпринимателем.

Второе, что можно отметить — стройную организованность и, как правило, авторитарность этих учреждений. Можно сказать, что обучение привычкам иерархии и подчинения как в аграрных, так и в индустриальных обществах начинается с патриархальной семьи. Хотя женщин и детей в наши дни уже не считают почти что челядью, патриархальная семья всё ещё популярна, и её нельзя назвать местом, где люди могут научиться автономии и независимости — пожалуй, за исключением мужчины, то есть главы семьи. Для большинства членов патриархальной семьи она исторически являлась скорее местом, где они учились прислуживать, а для мужчин-глав семейств и их сыновей она была местом обучения авторитарному поведению. Привычка угождать, приобретенная в семье, вместе с опытом взрослой жизни в основном в авторитарной атмосфере, которая ещё больше угнетает самостоятельность и независимость работников, влечёт за собой печальные последствия для ВЧП.

Для гражданственности и демократии последствия постоянного раболепия тоже не предвещают ничего хорошего. Можно ли рассчитывать на то, что человек, который проводит свою сознательную жизнь в угождении и привык выживать в таких условиях, внезапно обретёт смелость и предстанет перед собравшимися горожанами мужественным, независимо мыслящим, отважным образцом индивидуальности и самостоятельности? Можно ли от диктатуры на рабочем месте перейти прямо к практике демократической гражданственности в общественной жизни? Авторитарная обстановка, бесспорно, формирует личность человека на глубинном уровне. Стэнли Милгрэм в своём знаменитом эксперименте показал, что большинство людей готовы бить других участников мощными, даже угрожающими жизни, электрическими разрядами, если им приказывают авторитетные люди в белых халатах. А Филипп Зимбардо обнаружил, что те, кого в своем психологическом эксперименте он назначил играть тюремщиков, настолько быстро стали злоупотреблять властью, что эксперимент пришлось прервать, пока они не натворили бед [18].

Если взглянуть ещё шире, то и столь разные философы, как Этьен де ла Боэси и Жан-Жак Руссо, были в равной степени глубоко озабочены тем, какие политические последствия имеют иерархия и автократия. Они полагали, что в таких условиях формируются скорее подданные, чем граждане. Подданные приучались к почтительности. Они были склонны заискивать перед начальством, вести себя по-рабски, когда надо — лицемерно, и редко высказывать собственное мнение, не говоря уже о сомнениях. Их поведение отличалось осторожностью, и при наличии собственного мнения, даже резко критического, они держали его при себе, избегая публично демонстрировать свои независимые суждения и нравственные предпочтения.

В наиболее тяжелых условиях «институционализации» (показателен даже сам этот термин), например, в тюрьмах, психиатрических лечебницах, детских домах, рабочих домах для бедняков, концентрационных лагерях и домах престарелых может возникнуть личностное расстройство, иногда называемое «институциональным неврозом». Это расстройство является прямым следствием длительной институционализации. Люди, страдающие им, апатичны, безынициативны, не проявляют интереса к окружающему миру, не стремятся планировать свою жизнь и абсолютно предсказуемы. Поскольку они сговорчивы и не доставляют хлопот, те, кто их контролирует, воспринимают их положительно — ведь они хорошо адаптируются к режиму учреждения. В самых тяжелых случаях они могут впасть в детство, что проявляется характерной позой и походкой (в нацистских концлагерях таких заключенных, находившихся при смерти от лишений, другие заключенные называли *Muselmänner*), и становятся отрешенными и неконтактными. Вот что происходит в отсутствие контактов с окружающим миром, в результате потери друзей и имущества, а также по причине власти персонала над подопечными.

Меня волнует вопрос: не являются ли авторитарность и системность большинства современных социальных институтов — семьи, школы, фабрики, офиса, предприятия — причиной институционального невроза в легкой форме? С одной стороны институционального континуума можно разместить тоталитарные институты, которые планомерно уничтожают независимость и инициативу тех, кто им подвластен. А с другой стороны этого континуума — вероятно, какая-нибудь идеалистичная версия джефферсоновской демократии, состоящая из независимых, полагающихся на собственные

силы, уважающих самих себя подотчётных самим себе фермеров-землевладельцев, управляющих собственными предприятиями, свободных от долгов и вообще не имеющих причин для угождения или пиетета. Такие свободные земледельцы, по мнению Джефферсона, были основой для активной и независимой общественной жизни, в которой граждане могли говорить то, что думают, бесстрашно и невзирая на лица.

Сегодня большинство граждан западных стран победившей демократии находятся где-то посреди между этими двумя крайностями. Общественная жизнь в их государствах ничем не ограничена, но институты, определяющие их повседневное существование, противоречат принципам, на основе которых строится эта общественная жизнь, так как они поощряют и часто вознаграждают осторожность, угодливость, услужливость и конформизм. Не порождает ли такое противоречие институциональный невроз, который подрывает жизнеспособность общественного диалога? Если посмотреть на этот вопрос шире, приводит ли кумулятивный эффект патриархальной семьи, государства и прочих системных институтов к тому, что субъект становится более пассивным, и ему не хватает спонтанной способности к взаимозависимости, которую так превозносят как анархисты, так и либерально-демократические теоретики?

Если да, то насущная задача общества заключается в поддержке институтов, поощряющих и расширяющих независимость, самостоятельность и способности граждан. Но можно ли усовершенствовать институты, в которых проходит жизнь граждан, так, чтобы они лучше соответствовали формированию демократической личности?

## Фрагмент 16. Скромный парадоксальный пример: отмена красного света

Наша повседневная жизнь до того зарегулирована, и это регулирование настолько проникло в наши действия и ожидания, что мы его практически не замечаем. В качестве примера возьмем обычные светофоры на перекрестках. Изобретённый после Первой мировой войны в США светофор заменил систему взаимных уступок, которая на протяжении долгого времени использовалась пешеходами, телегами, автомобилями и велосипедами, строго рассчитанным управлением движением. Цель светофорного регулирования заключалась в том, чтобы избежать аварий путём применения продуманной системы координации движения. Зачастую на выходе получалась картина, которую я наблюдал в Нойбранденбурге и с которой я начал эту книгу: люди терпеливо ждали зеленого сигнала светофора, хотя было очевидно, что поблизости не было никаких машин. Они отказывались думать самостоятельно по привычке или из боязни того, что может с ними случиться, если они нарушат господствующий электронный правопорядок.

А что было бы, если бы перекресток был нерегулируемым, и водители с пешеходами должны были бы использовать свои независимые суждения? Начиная с 1999 года, в городе

Драхтен (Нидерланды) исследователи пытаются ответить на этот вопрос. Им удалось получить потрясающие результаты, что привело к волне «отмены красного света» во многих городах Европы и Соединенных Штатов [19]. И лежавшие в основе этой инициативы идеи, и её результаты являются, по моему мнению, показательными и побуждают к новым и более серьезным усилиям в деле создания общественных институтов, расширяющих пространство независимого суждения и улучшающих способности людей.

Ханс Модерман (Hans Moderman), инженер по организации дорожного движения, еще в 2003 году первым предложивший выключить светофоры в Драхтене, в дальнейшем стал пропагандировать идею «общего пространства», которая быстро стала популярной в Европе. Сначала он заметил, что, когда светофор не работал из-за проблем с электричеством, пробок не возникало, даже напротив — поток транспорта возрастал. В качестве эксперимента он заменил самый загруженный регулируемый перекресток в Драхтене с пропускной способностью 22000 автомобилей в день на круговое движение для автомобилей, протяженную велодорожку и пешеходную зону. В течение двух лет после того, как в Драхтене убрали светофоры, количество ДТП упало с 36 (за предыдущие 4 года) до 2, и так было два года подряд. Когда все водители знают, что должны быть начеку и включить здравый смысл, транспорт движется быстрее, а заторы и вызываемая ими агрессия, практически исчезли. То, что получилось в итоге, Модерман сравнил с фигуристами на переполненном катке, которым удаётся избегать столкновений с другими катающимися. По его мнению, вынуждает водителей отвлекаться от дороги и делает перекрестки менее безопасными как раз избыток знаков.

Мне кажется, что выключение светофоров можно рассматривать в качестве небольшого упражнения в ответственном вождении и взаимной вежливости. Модерман не был принципиальным противником светофоров: просто он не обнаружил в Драхтене ни одного светофора, который был бы действительно необходим с точки зрения безопасности, увеличивал бы пропускную способность и уменьшал загрязнение воздуха. Круговое движение кажется опасным — и в этом вся соль. Он утверждал: «...когда водители вынуждены задумываться о том, как они едут, они ведут осторожнее», что подтверждает статистика по ДТП, происходящим после проезда перекрестка со светофорным регулированием. Вынужденные делить дорогу с другими участниками движения, не получая при этом указаний светофора, водители всё время начеку, и это поощряется законом, который в случае, если трудно определить виновного в происшествии, обычно на стороне «слабейшего» (водитель автомобиля по умолчанию более виновен, чем велосипедист, а велосипедист — более пешехода).

Концепция общего пространства в управлении дорожным движением полагается на разум, здравый смысл и внимательность водителей, велосипедистов и пешеходов. Вместе с тем оно, как представляется, в некоторой степени повышает способность и умение участников дорожного движения передвигаться не как автоматы, управляемые десятками предписывающих знаков (только в одной Германии существует 648 дорожных знаков, количество которых по мере приближения к городу стремительно нарастает) и сигналов светофора. По мнению Модермана, чем больше указаний, тем сильнее водители стремятся извлечь из них максимальную выгоду, ускоряясь между перекрестками, резко стартуя на светофорах и избегая любых уступок, не предписанных правилами. Водители научились

оборачивать обилие правил себе на пользу. Не будем переоценивать значение предложенной Модерманом идеи, но всё-таки вклад в валовой человеческий продукт она вносит ощутимый.

Результатом такого изменения парадигмы в управлении движением стала всеобщая эйфория. Маленькие городки в Нидерландах поместили на въезде знак, который с гордостью объявлял, что здесь «Зона, свободная от дорожных знаков» (Verkeersbordvrij), а на конференции, посвященной новой философии дорожного движения, был провозглашен лозунг «Опасно означает безопасно».

# Глава 4. Да здравствует мелкая буржуазия!

## Фрагмент 17. Знакомство с оклеветанным классом

“ Никакое обогащение не в состоянии компенсировать ущерб... от оскорбляющих достоинство и вредящих свободе соглашений.

Р. Г. Тоуни

Настало время замолвить слово о мелкой буржуазии. В отличие от рабочего класса и капиталистов, не страдающих от недостатка трибунов и горлопанов, эта формация редко, скорее, почти никогда не заявляет о себе. Капиталисты объединяются в промышленные ассоциации и встречаются на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рабочие собираются на профсоюзные конгрессы, а единственная известная мне конференция буржуа имела место в 1901 году в Брюсселе (I Международный конгресс мелкой буржуазии). Второго конгресса не было.

Зачем же я подаю голос за класс, который по-прежнему не имеет собственного имени и, конечно же, говоря на марксистском жаргоне, не является собственно классом? По нескольким причинам. Во-первых (и это самое главное), мне думается, что буржуазия и мелкие собственники в целом представляют собой драгоценный оазис самостоятельности и свободы в пределах государств, где всё сильнее господствуют крупные государственные и частные бюрократические структуры. Независимость и свобода, помноженные на взаимность — это главная идея анархизма. Во-вторых, я убежден, что мелкая буржуазия жизненно необходима обществу и экономике при любой политической системе.

Наконец, если достаточно широко определить границы мелкой буржуазии как класса, окажется, что это самый многочисленный класс в мире. Если мы включим в этот класс не только продавцов, но и малоземельных крестьян, ремесленников, коммивояжеров, независимых профессионалов и мелких торговцев, всё имущество которых составляет тележка или лодка и пара инструментов, численность этого класса резко возрастет. Если мы включим в число мелких буржуа тех, кто находится на периферии этого класса, например, фермеров и арендаторов, пахарей, взявших напрокат лошадь или вола,

старьевщиков и рыночных торговцев, которые обладают меньшей независимостью и меньшим имуществом, численность мелкой буржуазии становится ещё больше.

У всех перечисленных мной есть нечто общее, что отличает их и от служащих, и от рабочих — по большей части они вольны распоряжаться своим рабочим временем и трудятся почти или вовсе без контроля извне. Безусловно, такая самостоятельность может выглядеть сомнительной, поскольку в действительности выливается в работу по 18 часов в день за деньги, которых едва хватает на жизнь. Однако ясно, и мы в этом вскоре убедимся, что стремление к независимости, к возможности распоряжаться своим рабочим временем и ощущение свободы и самоуважения, о которой мечтают многие, зачастую недооцениваются.

## Фрагмент 18. Этиология презрения

Прежде чем хвалить мелкую буржуазию, нам следует задуматься о том, почему её как класс так поносят. Презрение, которое марксисты выражают по отношению к мелкой буржуазии, отчасти обусловлено структурными причинами. Капиталистическая промышленность создала пролетариат, поэтому только освобождение пролетариата может привести к преодолению капиталистической системы. Любопытно, хотя и логично, что марксисты неохотно, но всё же уважают капиталистов, которые преодолели феодализм и выпустили на свободу огромные производительные силы современной промышленности. Они подготовили почву для пролетарской революции и триумфа коммунизма в мире материального процветания. Напротив, мелкая буржуазия — ни рыба ни мясо: в целом они бедны, но при этом они капиталисты. Иногда они могут вступить в союз с левыми, но такой союз недолговечен: на их лояльность нельзя полагаться, так как они одной ногой стоят в лагере рабочих, а другой — в капиталистическом, желая в итоге стать крупными воротилами. Буквальный перевод французского слова «petite» на английский язык как «petty» (ближайшее значение этого слова по-русски будет «пустячная» или «крохоборская») ещё больше усугубляет ситуацию.

После большевистской революции ярлык «мелкобуржуазности» мог означать тюрьму, ссылку или смерть. Презрение к мелкой буржуазии сочеталось с микробной теорией заболеваний, что в дальнейшем нашло отражение в антисемитизме нацистов. Бухарин клеймил восставших рабочих и матросов Кронштадта такими словами: «мелкобуржуазная зараза крестьянства распространилась среди части рабочего класса» [20]. Крестьян, которые сопротивлялись коллективизации, также описывали подобными словами: «действительная угроза буржуазных миазмов и мелкобуржуазных бацилл всё ещё присутствует — поэтому необходима дезинфекция» [21]. В этом случае бациллами, о которых шла речь, были почти всегда мелкие землевладельцы, имевшие в своём распоряжении немного лишних денег и поэтому способные во время уборки урожая нанимать нескольких работников. И, конечно же, подавляющее большинство мелких буржуа — это относительно бедные, трудолюбивые люди, имущества которых едва достаточно для того, чтобы сводить концы с концами; если они и эксплуатируют кого-то, так это членов своей патриархальной семьи — кто-то назвал это «самоэксплуатацией» [22]. Нелюбовь к мелкой буржуазии, по моему убеждению, имеет структурную основу, которую разделяют как страны бывшего соцлагеря, так и крупные капиталистические демократические страны.

Кризис 1929 года, который вынудил Сталина начать стремительную коллективизацию, заключался именно в провале попыток государства экспроприировать у крестьян-единоличников достаточного количества зерна. В принципе, любой политический строй всегда больше расположен к формам производства, которые легко обложить налогами. По этой причине государство почти всегда было непримиримым врагом тех, кто был мобилен, — цыган, скотоводов, коммивояжёров, полукочевых земледельцев, рабочих, занятых отхожими промыслами, так как они подвижны, а посему их деятельность непрозрачна и ускользает от наблюдения государства. По этой же причине государства всегда предпочитали мелким сельхозпроизводителям и частному предпринимательству крупные сельхозпредприятия, коллективные хозяйства, плантации и государственные торговые базы. Корпорации, банки и объединения предпринимателей для власти всегда предпочтительнее малых и даже средней руки торговли и промышленности. И пусть крупные предприятия зачастую менее эффективны, чем мелкие, зато налоговые органы могут легче отслеживать их, регулировать и облагать налогом. Чем сильнее стягивается налоговая удавка государства, тем более вероятно, что в ответ возникнет серый или чёрный, то есть неформальный и нерегулируемый рынок. Впрочем, бесспорно, что в системе власти всегда найдутся привилегированные места для крупнейших компаний — это им гарантируют их размеры и платёжеспособность.

## Фрагмент 19. Мечтания мелких буржуа: соблазн собственности

Если попытаться очень кратко изложить очень длинную историю, то *Homo sapiens* существуют как вид около 200 тысяч лет. Государства были «изобретены» примерно пять тысяч лет назад, но большая часть человечества еще тысячу лет назад жила без каких-либо намеков на образования, которые можно было назвать государством. Большинство живущих в государствах людей относились к мелким собственникам — это были крестьяне, ремесленники, лавочники, торговцы. В XVII веке, когда стало зарождаться самоуправление, права на него распределялись исходя из статуса и богатства. Крупные бюрократические организации, характерные для нашего времени, возможно, создавались и строились по принципу монастыря или казармы, но в сущности своей они появились только в последние два с половиной столетия. Иначе говоря, люди долгое время жили вне государства, и потом, вплоть до XVIII века, они сильно различались между собой в зависимости от того, были ли они формально несвободными (рабами, крепостными и зависимыми) или мелкими собственниками, которые составляли значительную часть населения и теоретически, а часто и практически обладали определёнными правами: создавать семью, владеть землей и наследовать её, организовываться в цеха, выбирать старост и бить челом монархам. Таким образом, относительная самостоятельность и независимость подчинённых классов принимала две формы: либо жизнь на обочине, контролировать которую государство было не в состоянии, либо жизнь в рамках государства и с минимальными правами, какие давало обладание небольшим имуществом.



Подозреваю, что невероятное стремление многих людей в совершенно разных обществах к обладанию собственным земельным наделом, собственным домом, собственным магазином объясняется не только минимальной самостоятельностью, то есть возможностью распоряжаться собой, и уверенностью, которую такое обладание давало. Связанные с обладанием имуществом статус, достоинство и почёт в глазах и государства, и соседей также играют большую роль. Томас Джефферсон считал независимое малое крестьянское хозяйство местом воспитания добродетелей и основой для демократической гражданственности:

“ Обрабатывающие землю суть наиболее ценные граждане: они самые энергичные, самые независимые, самые добродетельные и сильнее всего привязаны к своей стране и любят её свободу [23].

Изучая материалы о крестьянских сообществах, я не мог не обратить внимания на то, с какой невероятной силой даже малоземельные крестьяне держались за самый маленький клочок земли, тогда как чисто логически с экономической точки зрения они бы выиграли, взяв землю в аренду на более выгодных условиях или переехав жить в город. Те, у кого не было своей собственной земли, стремились взять участок в долгосрочную аренду, желательно у родственников — и с точки зрения статуса это было лишь немного хуже, чем владеть землей. Те же, у кого не было ни земли, ни возможности арендовать её на хороших условиях, вынуждены были батрачить на других людей, но изо всех сил держались хотя бы за свой огорожок. С точки зрения чистого дохода, многие арендаторы были богаче, чем мелкие землевладельцы, а многие батраки — богаче некоторых арендаторов. Однако для крестьян решающей была разница в самостоятельности, независимости и, соответственно, в социальном статусе. Землевладелец, в отличие от арендатора, ни от кого не зависел, а арендатор отличался от наёмного работника тем, что, пусть и в течение некоторого времени, но имел землю и мог управлять своим рабочим временем. Батрак, со своей стороны, впадал в унижительную зависимость от доброй воли своих соседей и родственников. Но крайней степенью унижения была потеря последнего материального символа независимости — земельного надела.

Спускаясь по социальной лестнице, мы наблюдаем снижение экономической безопасности и уменьшение независимости. Однако мечта мелкой буржуазии состояла, в сущности, не в абстрактном вычислении безопасного дохода, а в глубоком желании полностью участвовать в делах своей маленькой общины. Обладать имуществом значило иметь возможность праздновать свадьбы, похороны и, как, например, в одной малайской деревне, праздник окончания поста Рамадан, что позволяло людям показать свою социальную значимость и подчеркнуть свой статус. «Середняки», имевшие достаточно ресурсов для отправления этих ритуалов, были не только самыми влиятельными людьми в деревне, но и примерами для подражания. Если человек сильно недотягивал до этого стандарта, то он переходил в другой, низший разряд.

Разбитые мечты мелкой буржуазии по традиции зажигают революцию. «Землю крестьянам» — этот лозунг в той или иной форме всегда повторялся во время аграрных революций.

Крестьянскую революцию 1917 года в России подстегнули солдаты, побежденные на австрийском фронте и немедленно поспешившие домой, чтобы участвовать в переделе и захватах земли. Для многих т. наз. «голых палок» (непривязанных, «лишних») — безземельных наёмных работников — перед революцией 1949 года в Китае Народно-освободительная армия давала драгоценный шанс завоевать свой собственный земельный надел, жениться и достичь, наконец, желанной возможности полноценно участвовать в жизни общества, включая и право на достойные похороны. Ключом (или приманкой?) к активному участию крестьян практически во всех революциях XX века были обещания, что они получают землю, а значит, и социальный статус, и независимость. Когда же за земельной реформой следовала коллективизация, большинство крестьян воспринимали её как предательство их надежд, и поэтому сопротивлялись ей.

Мечтаниями мелкой буржуазии тешится и промышленный пролетариат. Поразительный пример этого — воинственные шахтеры и сталевары Рурского бассейна, самые что ни на есть «красные» рабочие, на которых Ленин возлагал большие революционные надежды в 1919 году [24]. Когда их спрашивали, чего они хотят, выяснялось, что их чаяния удивительно просты. Как и ожидалось, они хотели повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и увеличения продолжительности перерывов. Однако помимо того, что марксисты уничижительно называют «профсоюзным самосознанием», они жаждали уважения со стороны начальства (чтобы их называли господами) и мечтали о собственном доме с садом. Вряд ли стоит удивляться тому, что недавно переехавшие из сел в город пролетарии мечтают все еще по-деревенски, но их требования уважения и независимости трудно согласуются как со стереотипом «экономически озабоченного» рабочего класса, которому нужен только длинный рубль, так и со архетипом революционного пролетариата.

На протяжении последних нескольких десятилетий в опроснике общественного мнения у рабочих в США значился один и тот же вопрос: какую работу они предпочли бы заводу? На удивление, многие из них выразили желание открыть магазин или ресторан или заняться сельским хозяйством. Общая тема, прозвучавшая в этих мечтах — это свобода от постоянного контроля и самостоятельный режим рабочего дня, что в их глазах более чем компенсировало переработки и риски, связанные с таким малым бизнесом. Большинство рабочих, разумеется, никогда не воплощают свои мечты в реальность, но постоянство, с которым у них возникает эта фантазия, явно показывает её силу.

Для тех, кто испытал на себе настоящее, не «наёмное» рабство, пределом их мечтаний была возможность независимого существования — какой бы эфемерной она ни была [25]. После освобождения рабы в южных штатах снялись с мест и поселились на границах сельскохозяйственных плантаций, и на этих не принадлежащих никому общественных землях они жили, едва сводя концы с концами. Имея ружье, мула, корову, рыболовный крючок, несколько кур, гусей и плуг, можно было, наконец, жить независимо и работать «на дядю» лишь изредка, чтобы удовлетворить потребность в деньгах. Точно так же за счёт ничейных земель жили и белые бедняки, избегая тем самым унижительной зависимости от более богатых соседей. Результатом этого был крах плантаторской экономики, восстановленной в существенно измененном виде только в 1880-х годов, после принятия на Юге законов об огораживании, которые были направлены на то, чтобы лишить независимых черных и белых доступа к ничейным землям и вернуть их на рынок труда. В результате этих

законов возникла печально знаменитая система издольного земледелия, вследствие которой США вплотную подошли к крепостному праву.

Стремление к независимости настолько сильно, что может принимать довольно извращённые формы. В условиях завода, конвейер которого настроен таким образом, чтобы уменьшить самостоятельность до ничтожно малых значений, рабочие, выражая свою независимость, все-таки умудряются выкроить время для «баловства» [26]. Рабочие сборочного конвейера автозавода в Ривер-Руже торопятся сделать всё побыстрее, чтобы потом подремать в уголке или почитать или поиграть в опасную игру «заклёпочный хоккей». Рабочие в социалистической Венгрии использовали рабочее время для изготовления битков — небольших обточенных кусков металла — даже если они никак не могли их впоследствии использовать. Рабочие отвергают объективацию и скуку, свойственные системе труда, направленной на уничтожение «игры», и творчески утверждают свою независимость.

Весьма хитроумно смог использовать стремление людей к владению собственностью и автономии себе на пользу современный сельскохозяйственный бизнес. Типичным примером этого является практика контрактного птицеводства [27]. Зная, что скопление большого количества птиц в одном месте опасно с эпидемиологической точки зрения, крупные сельхозпредприятия отдают выращивание бройлеров «независимым» фермерам. Субподрядчик должен всего лишь в соответствии с подробными инструкциями, составленными фирмой Тайсон или другими корпорациями, построить большой курятник и взять на себя его содержание. Сельхозкорпорация поставляет ему цыплят и в деталях расписывает в контракте условия питания, водоснабжения, лечения и режим уборки, необходимые принадлежности для которых можно приобрести у самой этой корпорации. Повседневная деятельность субподрядчика плотно контролируется. Оплата в конце договорного периода зависит от привеса животных и количества выживших, с учётом изменившейся рыночной конъюнктуры. Зачастую контракт продлевается, но нет никакой гарантии, что так будет происходить всё время.

В этой системе отвратительно то, что она сохраняет видимость независимости и самостоятельности, при этом почти полностью лишая её содержания. Субподрядчик является независимым землевладельцем и налогоплательщиком, но его рабочее время и деятельность контролируются почти так же, как и деятельность рабочих на конвейере. Нет, ему никто не дышит в затылок, но если контракт не продлят, он остаётся один на один с ипотекой величиной с курятник. В сущности, предприятие снимает с себя риски владения землей, выплаты по кредитам и управление большим количеством рабочей силы — которая могла бы требовать привилегий — при этом пользуясь преимуществами плотного наблюдения, стандартизации и контроля качества, для обеспечения которых и задумывались современные фабрики. И это работает! Стремление ухватиться за последний кусочек человеческого достоинства и почувствовать себя независимым собственником так велико, что «фермер» охотно пренебрегает почти всем его значением [28].

Может быть, анархисты и упустили из виду что-нибудь, касающееся человеческой природы, но их убежденность в стремлении к утверждению достоинства и самостоятельности мелких собственников была весьма проникательной. Мечта, которую мелкая буржуазия лелеяла в

отношении независимости, хотя теперь и стала менее достижимой, не умерла вместе с эпохой индустриальной революции, а напротив, обрела новую жизнь.

## Фрагмент 20. Отнюдь не самые мелкие социальные функции мелкой буржуазии

Стремление получить землю или вернуть себе потерянную землю было лейтмотивом большинства радикально эгалитарных массовых движений — от диггеров и левеллеров времен гражданской войны в Англии, мексиканских повстанцев 1911 года, испанских анархистов на протяжении почти целого столетия до многих антиколониальных движений и массовых движений в современной Бразилии. И если бы они не апеллировали к мечтаниям мелкой буржуазии, у них не было бы шансов.

Презрение Маркса к мелкой буржуазии было немногим меньше его презрения к люмпен-пролетариату и основывалось на том, что они были мелкими собственниками, а значит, мелкими капиталистами. Только пролетариат, новый класс, порожденный капитализмом и не имеющий собственности, мог быть поистине революционным: освобождение этого класса зависело от преодоления капитализма. Хотя теоретически эти рассуждения выглядят разумными, исторически сложилось, что на западе вплоть до конца XIX века ремесленники — ткачи, сапожники, печатники, каменщики, каретных дел мастера, плотники — составляли ядро самых радикальных рабочих движений. Будучи старым классом, они придерживались коммунитарной традиции, набора эгалитарных практик и локальной сплочённости, которой не хватало новонабранным рабочим заводов и фабрик. И конечно же, значительные изменения в экономике, начавшиеся с 1830-х гг., угрожали их существованию как класса. Поэтому главной социальной базой радикализма всегда были крестьяне и мелкие городские ремесленники. Как говорил Баррингтон Мор, вторя Эдварду Томпсону, «главной социальной базой радикализма были крестьяне и мелкие ремесленники в городах. Из этого можно заключить, что истоки человеческой свободы лежат не только там, где их видел Маркс — в чаяниях классов, которые должны были прийти к власти — но, возможно, ещё в большей степени в прощальном стоне классов, по которым вот-вот должна была прокатиться волна прогресса» [29].

В эпоху холодной войны стандартной мерой для предотвращения революции была упреждающая земельная реформа, хотя её порой блокировали элиты. Неолиберальный тренд в таких организациях, как Всемирный Банк, взял верх только после распада социалистического лагеря в 1989 году, после чего земельная реформа была снята с повестки дня. Хотя загнанный в угол класс мелких собственников и породил несколько правых движений, невозможно писать историю борьбы за равенство, не упомянув в числе первых ремесленников и крестьян, жаждавших независимости мелкой собственности.

Немало можно сказать и о ключевой роли, которую благодаря изобретениям и инновациям мелкая буржуазия играет в экономике. Они — первопроходцы в использовании подавляющего большинства новых процессов, машин, инструментов, промышленных изделий, продовольственных товаров и идей, хотя обычно основными выгодоприобретателями становятся не они [30]. Нигде этот тезис не становится более очевидным, чем в современной софт-индустрии, где почти все новаторские идеи создаются отдельными людьми или маленькими стартапами, а затем покупаются или поглощаются более крупными фирмами. Роль гигантов, в сущности, сводится к «сканированию» новых концепций и затем к присвоению любой потенциально успешной (или угрожающей) идеи путём найма на работу, вытеснения из бизнеса или покупки. Конкурентное преимущество крупных компаний лежит в основном в их капитализации, маркетинговых возможностях, способности лоббировать свои интересы и вертикальной интеграции, а не в оригинальных идеях и инновациях. Поэтому, хотя справедливо утверждение, что мелкая буржуазия не может отправить человека на Луну, построить самолёт, организовать добычу нефти в океаническом шельфе, управлять больницей или создать и продать новое лекарство или мобильный телефон, способность огромных корпораций осуществлять всё это в большой степени зависит от их способности сочетать тысячи более мелких изобретений и процессов, которые они не создавали и, возможно, не смогли бы создать самостоятельно [31]. Безусловно, это тоже важная инновация сама по себе. Однако ключ к олигопольному положению крупнейших фирм на рынке лежит именно в их способности уничтожить или поглотить потенциальных соперников. Поступая так, они, без сомнения, в одинаковой степени и препятствуют инновациям, и способствуют им.

## Фрагмент 21. «Бесплатные обеды» за счёт мелкой буржуазии

“Тот, кто не умеет улыбаться, не должен открывать лавку.

Китайская пословица

Не так давно я провел несколько дней в Мюнхене в гостях у своей знакомой, в доме её пожилых родителей. Они были в весьма преклонном возрасте и мало выходили из дома, однако каждым прохладным летним утром они обязательно гуляли по своему кварталу. Мы с моей знакомой сопровождали их на этих прогулках по магазинам в течение нескольких дней, и эти вылазки с полным основанием можно было назвать «обходом магазинов».

Сначала они шли в лавку зеленщика и покупали там немного овощей и бакалеи. Потом они заходили в соседний магазин, где продавались масло, молоко, яйца и сыр. После этого они шли в мясную лавку за куском свинины, затем в ларек за фруктами, и, наконец, полюбовавшись на играющих в маленьком парке детей, зашли в газетный киоск и купили там журнал и местную газету. Последовательность их действий казалась неизменной, и в

каждом магазине они обязательно останавливались, чтобы поговорить — обстоятельно или кратко, в зависимости от количества других покупателей. Они обменивались комментариями по поводу погоды или недавнего ДТП неподалеку, узнавали, что нового произошло у их общих знакомых или родственников, кто родился в районе, как поживает чья-то дочь или сын, жаловались на раздражающий шум машин и так далее.

Можно, конечно, сказать, что их общение было пустым и сводилось к обмену любезностями и разговору о пустяках. Но они никогда не были анонимными: собеседники знали как имена друг друга, так и истории их семей. Я был ошеломлен тем, как легко, хотя и поверхностно, люди начинали общаться, и пришел к выводу, что эти прогулки были главным событием дня для родителей моей знакомой. Они легко могли бы купить всё, что нужно, причём более эффективно, в большом магазине, который находился на примерно том же расстоянии от их дома. Если подумать, то лавочники — это своего рода неоплачиваемые социальные работники, обеспечивающие своих клиентов кратким, но приятным общением. Безусловно, они делают это не совсем бесплатно, ведь цены у них, конечно же, были выше, чем в более крупных магазинах: мелкие торговцы понимали, что их улыбки и любезности были способом обеспечить себе приток постоянных и верных клиентов, а значит, преуспеть в бизнесе. Однако не будем чересчур цинично относиться к улыбкам лавочников: стоит заметить, что такие любезности позволяли и им самим снять напряжение дня, который в противном случае состоял бы только из нарезки, взвешивания и подсчёта денег.

В этом случае мелкая буржуазия ежедневно, надежно и бесплатно оказывает обществу такую услугу, которую едва ли сможет предоставить какое-нибудь официальное лицо или ведомство. И это всего лишь одна из многих бесплатных социальных услуг, оказываемых мелкими лавочниками в своих собственных интересах.

Джейн Джекобс упомянула о многих из них в своих замечательных этнографических исследованиях структуры городских районов [32]. Её фраза «глаза, следящие за улицей» в 1960 году была внове, но теперь стала принципом, согласно которому в наши дни проектируют новые кварталы. Имеется в виду постоянное неформальное наблюдение за кварталом, осуществляемое пешеходами, продавцами и жителями района, многие из которых знают друг друга. Их присутствие и оживлённость улицы способствуют поддержанию правопорядка почти без необходимости вмешательства извне. Мораль заключается в том, что такое неформальное наблюдение за улицей предполагает густонаселенный район, использующийся в разных целях, где есть много маленьких магазинов, ателье, жилых домов и предприятий сферы обслуживания, обеспечивающих постоянное пешее движение курьеров, зевак и людей, идущих по своим делам.

Мелкобуржуазные лавочники — ключевые участники этого процесса, потому что они находятся на месте большую часть дня, знают своих клиентов и присматривают за улицей. Такие районы куда безопаснее пустынных кварталов с редкими пешеходами. В данном случае мы снова видим, что ценная услуга — обеспечение общественной безопасности — становится побочным продуктом других видов деятельности и совершенно бесплатна для общества. В отсутствие же подобных неформальных структур обеспечить порядок даже полиции удастся с трудом.

Улыбки и прочие услуги, которые оказывала мелкая буржуазия, просто невозможно купить за деньги. Джекобс отметила, что почти на каждом углу был магазинчик, работавший допоздна, и жители квартала просили продавца держать у себя ключи от их квартиры для родственников и друзей из других городов, которые будут пользоваться жильем в их отсутствие, и торговец оказывал им эту услугу совершенно бесплатно. Невозможно представить, чтобы такую услугу оказывало государственное учреждение.

Несомненно, крупные магазины могут предложить покупателям товары по более низкой цене, чем мелкая буржуазия. Однако не факт, что, принимая во внимание весь общественный вклад последней в такие сферы, как неформальная социальная работа, общественная безопасность, эстетическое наслаждение от оживленного и интересного уличного ландшафта, обилие разного социального опыта и персонализация услуг, сеть знакомств, обмен местными новостями и сплетнями, кроме того, основа для солидарности и совместной деятельности, а также (в случае с малоземельным крестьянством) надлежащее управление земельными ресурсами, в долгосрочной перспективе мелкая буржуазия не будет намного лучше, чем большая и безликая капиталистическая фирма. И хотя они не вполне соответствуют джефферсоновскому идеалу уверенных в себе, независимых и свободных земледельцев, они гораздо ближе к нему, чем сотрудники «Уолмарт» (Walmart) или «Хоум Депо» (Home Depot).

И наконец, общество, в котором преобладают мелкие землевладельцы и лавочники, ближе к равенству и общественной собственности на средства производства, чем любая известная на сегодняшний день экономическая система.

# Глава 5. В защиту ПОЛИТИКИ

## Фрагмент 22. Полемика и качество: против количественных измерений качества

“Однажды Луиза начала разговор с братом со слов «Том, мне удивительно...», и мистер Грэдграйнд, который подслушивал этот разговор, немедленно выдал себя, войдя и сказав: «Луиза, никогда не надо удивляться». Отсюда и растут ноги механистического искусства и тайна обучения разума — никакого пестования чувств и привязанностей. Никогда не удивляйся. Решай всё посредством сложения, вычитания, умножения и деления, и никогда не удивляйся.

Чарльз Диккенс. Тяжёлые времена

“Сила частного предприятия лежит в его ужасающей простоте... оно в совершенстве вписывается в современный тренд тотального предпочтения количественных показателей качественным, так как частное предприятие заботится не о том, что оно производит, но о том, что оно получает в результате.

Эрнст Шумахер. Малое прекрасно

Миа Канг устала сидеть на листке с тестом, лежавший на её столе. Это был всего лишь учебный тест. Учителя называли этот тест «пробным», чтобы они могли понять, как ученики справятся с принятым в Техасе способом оценивания знаний, умений и навыков. Но вместо того, чтобы заполнить пропущенные места и угодить учителю, Миа, ученица первого года обучения в старшей школе Мак-Артура, использовала листок с тестом для того, чтобы написать сочинение с критикой стандартизированных тестов и использования результатов тестирования для оценки учащихся и формирования рейтинга школ.



«Я написала о том, что стандартные тесты мешают, а не помогают школам и детям, — говорит Миа, которая вела себя удивительно по-взрослому и выглядела старше своих 14 лет. — Просто я бы не смогла участвовать в том, с чем совершенно не согласна. Эти тесты не дают детям того, что им действительно нужно знать; они лишь измеряют то, что легко измерить, — заявила она. — Нам стоило бы учиться понятиям и умениям, а не тому, как всё запомнить. Это плохо как для детей, так и для учителей».

Когда последствия Акта о всеобщем обучении (No Child Left Behind Act), принятого в 2001 году, докатились до школ на местах, поднялась волна сопротивления учеников, и храбрый поступок Мии Канг был всего лишь одним из примеров этого. Пятьдесят восемь учеников старшей школы Дэнверс (Danvers High School) в штате Массачусетс подписали петицию против обязательного экзамена под названием Массачусетская единая система оценивания (Massachusetts Comprehensive Assessment System, MCAS), а те, кто отказался участвовать в этом экзамене, были отстранены от занятий. Учащиеся других старших школ штата поддержали их. Подобные «очаги сопротивления» вспыхнули по всей стране: многие учащиеся штата Мичиган отказались принимать участие в местном тестировании, а в штате Висконсин выпускной экзамен (сдача которого обязательна для получения аттестата) был сорван из-за массового сопротивления со стороны учеников и их родителей. В одном из случаев учителя, возненавидевшие натаскивание на сдачу тестов, которое теперь от них требовалось, в знак протеста единодушно отказались от премий по итогам работы. Организовывали протесты вместо своих детей и родители младшеклассников, которых также вынуждали писать тесты. Понимая, что дети должны научиться читать, писать и считать с самого начала обучения в школе, родители, как и их дети, протестовали против начётнической атмосферы в классе. В основном, хотя и не повсеместно, это сопротивление было вызвано ненавистью учеников к пробным тестам, выведившим и без того заметный коэффициент скуки в школе на новый уровень.

Подготовка к тестам не только была мартышкиным трудом и для учеников, и для учителей; она отнимала много времени, которое можно было бы посвятить чему-нибудь другому — искусству, театральным постановкам, истории, физкультуре, изучению иностранных языков, написанию сочинений, стихов или совместным походам. Ушли в небытие многие другие задачи, которые могли бы оживить образовательный процесс: сотрудничество в обучении, поликультурная программа, формирование широких компетенций, обучение естественным наукам с упором на самостоятельные открытия и проблемно-ориентированное обучение. Школа угрожала превратиться в фабрику, производящую только один товар — учеников, могущих успешно пройти стандартные тесты, цель которых состоит в измерении узкого диапазона знаний и привитии умения сдавать тесты. Здесь уместно вновь вспомнить о том, что школа в том виде, в котором она существует сейчас, появилась примерно в одно время с текстильной фабрикой. И школа, и фабрика собирали всю рабочую силу под одной крышей; для упрощения контроля и оценивания и там, и там формировалась дисциплина в отношении времени и специализация по выполняемым задачам — и там, и там целью было производство стандартного товара заданного качества. Нынешний упор на региональные или национальные стандартные тесты основан на модели управления корпорацией с помощью количественных нормативов, позволяющих сравнивать учителей, школы, учеников с тем, чтобы вознаграждать их труд по-разному, в зависимости от того, насколько хорошо они соответствуют этим критериям.

Валидность этих тестов, т. е. адекватность результатов измерений остаётся под большим вопросом. Непонятно, что на самом деле выясняют тесты, на которые учеников натаскивают и тренируют. Исследования показали, что такие задания постоянно занижают оценки потенциальных работников женского пола, а также афроамериканцев и тех, для кого английский язык не является родным. Но главная опасность образования, при котором ставки чересчур высоки, а во главу угла ставятся тесты — в отчуждении, способном внушить миллионам молодых людей отвращение к обучению в школе.

Яростнее всего в защиту стандартных тестов как инструмента управления и измерения эффективности выступают те, кто находится дальше всего от непосредственной работы с детьми — инспекторы школ, местные чиновники от образования, губернаторы и Министерство образования. Эти тесты позволяют им сравнивать, хотя и неточно, эффективность работы подчиненных, а также служат мощным орудием мотивации для того, чтобы проводить в жизнь свои педагогические планы. Весьма любопытно, что в то время как в других странах стремятся сделать систему образования менее однородной, США берут курс на единообразие. Например, в Финляндии нет никаких централизованных тестов и никакого рейтинга учеников и школ, при этом Финляндия занимает верхние строчки во всех международных рейтингах качества образования. Многие колледжи и университеты, которые славятся качеством образования, перестали требовать от абитуриентов сертификаты о прохождении единого общенационального экзамена Scholastic Achievement Test (который ранее назывался Scholastic Aptitude Test). Страны, которые традиционно использовали единые общенациональные экзамены для того, чтобы отобрать тех, кто достоин учиться в университете, ныне изо всех сил пытаются снизить их значение или вовсе отменить их, чтобы способствовать «креативности»; удивительно, но при этом они зачастую считают такой подход «американской системой»!

Зная, что их судьбы и судьбы школ, в которых они работают, зависят от результатов ежегодных тестов, многие учителя не только безжалостно натаскивали учеников, но и занимались подтасовками, чтобы обеспечить успех. По всей стране прокатилась эпидемия фальсификаций. Один из недавних случаев произошел в Атланте, штат Джорджия, где расследование обнаружило, что 44 из 56 школ систематически подделывали ответы учащихся, удаляя неправильные и заменяя их правильными [33]. Выяснилось, что инспектор школ штата, получившая титул «Инспектор года-2009» за выдающиеся достижения в повышении успеваемости, создала атмосферу страха в подведомственных ей школах, под угрозой увольнения дав учителям три года на достижение нужных показателей. В подтасовке результатов участвовало почти две сотни учителей. Как и «самые умные» в Энроне, которым всегда удавалось перевыполнить квартальные нормы и получить премии, учителя в Атланте нашли способ достичь целей, но не тем путём, какой от них ждали. Ставки были ниже, но урон был не меньшим: ведь они следовали тому же принципу «перехитрить систему».

## Фрагмент 23. Что, если...? Фантазия на тему общества аудита

Давайте немного помечтаем. Представьте, что сейчас 2020 год [34]. Ричард Левин, президент Йельского университета, после долгой и блестящей карьеры вышел на пенсию, напоследок объявив 2020 год Годом идеального видения. Были отремонтированы и вычищены до блеска все здания университета, студенты стали ещё более одарёнными, успешными и сплочёнными, чем в 2010 году, а в рейтинге US News & World Report и Consumer Reports (самостоятельных прежде, но к этому времени объединившихся) Йельский университет занял первое место, наряду с лучшими отелями, роскошными автомобилями и газонокосилками. Впрочем, его первое место в рейтинге не было устойчивым. Судя по всему, качественный уровень сотрудников университета, нашедший своё отражение в архиважном рейтинге, снизился. Видя это снижение, конкуренты Йеля качали головой. Те, кто умел читать между строк, чувствовали растущую, хотя и замаскированную панику, которая сквозила во внешне спокойных публичных заявлениях Йельской корпорации.

Одним из признаков этой паники было назначение преемником Левина Кондолизы Райс, бывшего госсекретаря США, последним местом работы которой был Фонд Форда, где она навела полный порядок. Да, она первая чернокожая женщина, ставшая во главе Йельского университета. Конечно, президентами четырёх других университетов Лиги плюща уже становились цветные женщины. Но это неудивительно, учитывая, что Йельский университет всегда следовал завету фермера из Новой Англии: «Никогда не пробуй что-то новое первым, но и не будь последним».

С другой стороны, президентом университета Кондолиза Райс была выбрана не из символических соображений. Её выбрали, потому что она олицетворяла собой обещание провести полную реструктуризацию преподавательской корпорации с использованием самых совершенных технологий контроля качества, истоки которых лежат в Гранд-Эколь в Париже конца XIX века. Самые известные их примеры — революция Роберта Мак-Намары на заводах Форда и позднее его работа в министерстве обороны в 1960-х, а также революция в управлении британской социальной политикой и высшим образованием, проведенная Маргарет Тэтчер в 1980-х. Эти технологии были отработаны благодаря развитию количественных измерений продуктивности коллективов и индивидов в управлении промышленным предприятием. Затем их развил Всемирный Банк, и, наконец, Большая Десятка (пул самых известных вузов) довела эти технологии практически до совершенства, по крайней мере, в сфере высшего образования, после чего они добрались, пусть и с опозданием, до университетов Лиги плюща.

Как сообщили пожелавшие остаться неизвестными источники из числа членов Йельской корпорации, Райс очаровала их во время собеседования при приёме на работу. По её словам, она восхищается балансом между феодализмом (в политике) и капитализмом (в управлении финансами), который удастся поддерживать университету. Это в полной мере отвечает реформам, которые она задумала — как и свойственная этому университету долгая традиция так называемой «частичной автократии» в вопросах управления преподавательским составом. Но убедил работодателей в том, что она была ниспослана свыше в ответ на их молитвы, именно её всеобъемлющий план радикального улучшения качества преподавания — или, точнее, улучшения рейтинга университета на национальном уровне.

Она раскритиковала господствовавшие в Йельском университете устаревшие методы найма, повышения по службе и заключения бессрочного контракта с преподавателями, назвав их субъективными, средневековыми, несистематичными и зависящими от множества непредсказуемых факторов. По её мнению, именно из-за этих обычаев, ревностно охраняемых престарелыми (их средний возраст был около 80 лет), в основном белыми мужчинами, занимающими ведущие позиции в университете, Йель начал проигрывать в конкурентной борьбе. С одной стороны, из-за этих обычаев неуверенно себя чувствовали младшие члены преподавательской корпорации, не знающие, к чему им нужно стремиться и как угодить вышестоящим, чтобы достичь успеха и повышения по службе; с другой, неэффективная и самодовольная кучка геронтократов совершенно не заботилась об интересах университета в долгосрочной перспективе.

По сведениям наших источников, её план казался очень простым. Она предложила взять научные методы оценки качества, используемые повсеместно и впервые использовать их масштабно и прозрачно. За основу оценки были взяты индексы цитирования: Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, а также их дедушка Science Citation Index. Несомненно, на данные о том, как часто работы какого-либо учёного цитировались другими учеными в этой области, время от времени уже обращали внимание, решая, заслуживает ли этот учёный повышения, но став ректором, Райс предложила сделать этот способ объективной оценки систематическим и всеобъемлющим. Она подчеркивала, что индекс цитирования, как и машинный подсчет голосов, никому не отдавал предпочтения; он не страдал от сознательной или неосознанной предвзятости; он обеспечивал единственную возможность судить о научных достижениях человека, невзирая на лица. Ввиду этого, индексы цитирования с этих пор будут единственным критерием продвижения по службе и получения места в штате университета. Кроме того, эти индексы будут служить основанием для автоматического увольнения штатных преподавателей, чья лень и невежество не позволяют им выполнить годовые нормативы цитирования (сокращенно ГНЦ).

В соответствии с неолиберальным уклоном в прозрачность, открытость и объективность, ректор Райс предлагает современную высокотехнологичную версию фабрики Роберта Оуэна в Нью-Ланарке с поправкой на особенности учебного заведения. Все преподаватели должны получить цифровые шапочки цветов Йельского университета (бело-синие). Их будут производить в хороших условиях, без использования детского труда, а после этого все преподаватели обязаны будут носить их на территории университета. Спереди на шапочке будет расположено цифровое табло, похожее на счётчик в такси, на котором в режиме реального времени будет отображаться общий индекс цитирования данного учёного. Когда полностью автоматические центры индексирования цитат будут регистрировать новые цитаты, данные будут передаваться по спутнику прямо на табло, наподобие миниатюрной версии постоянно обновляемого счетчика населения мира, который раньше находился на Таймс-сквер. Назовём этот счетчик Публичный Реестр Общих Достоверных Упоминаний в Каталоге Трудов, или ПРОДУКТ.

Кондолиза Райс описывает, с каким волнением студенты будут слушать лекцию блестящего и знаменитого профессора, чья шапочка во время лекции непрерывно сигнализирует об увеличении общего числа его цитирования. В то же самое время в соседней аудитории студенты с беспокойством взирают на пустой экран на шапочке стоящего перед ними

сконфуженного лектора. Как при поступлении в магистратуру или ординатуру будут выглядеть приложения к их дипломам, в которых указывается совокупный индекс цитирования профессоров, чьи лекции они слушали, в сравнении с их конкурентами? Учились ли они у лучших и умнейших? Студентам больше не нужно будет полагаться на слухи, на не всегда объективные мнения друзей или на предрассудки составителей курсов. Численная «оценка качества» преподавателя будет выставлена на всеобщее обозрение. Младшие преподаватели больше не должны будут бояться переменчивого настроения своих старших коллег. Единый и неоспоримый стандарт будет, подобно ватерпасу, измерять качество работы и задавать цели, к которым нужно стремиться.

По мнению Райс, эта система решает извечную проблему: как реформировать кафедры, которые чахнут в тихой заводи своей науки и становятся оплотом кумовства. Отныне будет использоваться эта доступная общественности, прозрачная, обезличенная мера профессионализма вместо комиссий по продвижению и найму.

Нет, вы только представьте себе эту ясность! Самые выдающиеся преподаватели (подобранные в соответствии с новым критерием) собираются для того, чтобы установить несколько уровней цитирования. Для возобновления контракта требуется один уровень, для получения должности адъюнкт-профессора — другой; чтобы попасть в штат, понадобится следующий и, наконец, на высшем уровне будет оцениваться работа штатных профессоров. После этого, как только будет отработана «технология шапочек», процесс будет полностью автоматизирован.

Представим себе известного и широко цитируемого профессора политологии Харви Райталота. Он читает лекцию в переполненной аудитории, как вдруг его шапочка загорается бело-синим, и начинает играть туш — некий малоизвестный учёный в штате Аризона только что процитировал его последнюю статью в журнале «Новости заумных исследований», и по счастливой случайности именно эта цитата позволила Райталоту достичь нового уровня. Студенты, осознав, что произошло, аплодируют своему профессору стоя. Тот скромно кланяется, радуясь и одновременно смущаясь из-за поднявшегося шума, и продолжает лекцию, но теперь в качестве штатного профессора.

Пульт управления в кабинете ректорши в Вудбридж-холле возвещает о том, что «у Харви получилось» войти в число избранных. Она, в свою очередь, отправляет ему свои поздравления, которые воспроизводятся через динамик и на экране шапочки. Вскоре ему будет присвоена новая шапочка и выдан сертификат.

Члены преподавательской корпорации, мгновенно смекнув, сколько времени и сил может сэкономить эта автоматизированная система, и как она может резко поднять Йельский университет в рейтингах, принимают за её шлифовку и улучшение. Кто-то предложил сделать так, чтобы цитаты обесценивались со временем, теряя одну восьмую своей ценности ежегодно, то есть в соответствии со скоростью развития данной области знания цитата восьмилетней давности должна будет исчезнуть. Один из преподавателей неохотно предлагает установить минимальный уровень задержки по времени даже для штатных профессоров. Ректорша признает, что наблюдать за тем, как у профессора прямо во время семинара индекс цитирования снижается ниже минимального уровня — это печальное

зрелище. Тогда другой сотрудник предлагает запрограммировать шапочку таким образом, чтобы в таких случаях она полностью выключалась, хотя можно предположить, что злополучный профессор сможет прочесть свою судьбу во взглядах студентов...

Высмеивать количественные методы измерения продуктивности в высшей школе — само по себе занятие приятное, но у меня другая цель. Я пытаюсь показать, что демократические общества, особенно общества массовой демократии, такие, как Соединенные Штаты, приняв на вооружение критерии отбора элит и распределения расходов по достоинству, склонны использовать безличные, объективные и механические способы измерения качества. Неважно, какую форму они принимают: индекс цитирования в сфере социальных наук, аттестационный экзамен (впоследствии переименованный в выпускной экзамен, а позже — в экзамен на способность к дальнейшему обучению), анализ рентабельности — все они подчинены одной и той же логике. Почему? Краткий ответ таков: ситуаций выбора, которые и для семей, для отдельных граждан значат столько же, сколько и поиск жизненного пути посредством образования и трудоустройства, крайне мало; жителей определённой местности больше всего волнует распределение общественных средств на различные общественные нужды, а всё прочее им малоинтересно.

Привлекательность подобных способов измерения состоит в том, что они превращают качественные показания в количественные, позволяя эмпирическим путем, единообразно и непредвзято сравнивать различные случаи. Прежде всего, они являются огромной и обманчивой «системой антиполитики», которая задумана так, чтобы действительно заслуживающие интереса политические вопросы превращались в нейтральные и объективные административные процедуры, которыми управляют эксперты. Эта уловка маскирует глубокое недоверие к самой возможности совместной работы и взаимности обучения в политике, которые так важны и для анархистов, и для демократов. Но прежде, чем мы станем говорить о политике, давайте рассмотрим ещё два потенциально губительных возражения против методов количественного сопоставления.

## Фрагмент 24. Неработающие и безнадёжно себя скомпрометировавшие

Первая и наиболее очевидная проблема с такими методами измерения заключается в том, что они часто не работают, т. е. хоть сколько-нибудь точно измерить то, что мы рассчитываем измерить с их помощью, получается редко. Индекс научного цитирования, этот дедушка всех остальных индексов, был придуман Юджином Гарфилдом (Eugene Garfield) в 1963 году. Его целью было измерение влияния на науку отдельной исследовательской работы и – в более широком смысле — отдельного учёного или отдельной лаборатории, в соответствии с тем, с какой частотой данная работа цитировалась другими исследователями. Почему бы и нет? Такой способ оценивания уж точно лучше, чем неформальные репутации, гранты, трудноразличимые внутренние

иерархии в каждом институте, не говоря уж о простой плодовитости данного учёного. В конце концов, более половины всех научных публикаций, кажется, исчезают без следа; их никто и никогда не цитирует! 80% работ цитируются только однажды. Индекс научного цитирования, казалось, обеспечивал нейтральный, точный, прозрачный, непредвзятый и объективный способ измерить влияние данного учёного на последующие работы по теме. Какой удар по репутации! И так оно и было, по крайней мере, сначала в сравнении со способами, основанными на привилегиях и должностях, которые этот индекс стремился заменить.

Индекс научного цитирования быстро получил всеобщее признание не в последнюю очередь оттого, что его постоянно рекламировали — не забываем, что это коммерческое предприятие. Спустя немного времени им стали пользоваться повсеместно: для определения того, заслуживает ли данный учёный звания профессора, для продвижения журналов, для составления рейтингов учёных и институтов, а также в технологических анализах и правительственных исследованиях. Вскоре за этим индексом последовал Индекс цитирования в сфере общественных наук, а после этого не мог не прийти черед индекса цитирования в сфере гуманитарных дисциплин и искусств.

Что именно измерял индекс научного цитирования? В первую очередь бросается в глаза бессмысленный и абстрактный, сродни компьютерному, сбор данных. Индекс засчитывал цитаты самого себя, что добавляло самолюбования и без того чрезвычайно заметному в научных кругах нарциссизму. Также засчитывались негативные упоминания: «Статья учёного N — это худшее исследование, какое я когда-либо встречал!» Один балл в копилку учёного N!

Как сказала Мэй Уэст: «Слава не бывает плохой — вы только правильно напишите моё имя!» Цитаты из книг, в противоположность цитатам в научных статьях, не подлежат учету. Зададим более серьезный вопрос: что, если, как это часто бывает, никто и никогда не читает статьи, в которых упоминается данная работа?

Вдобавок отметим провинциализм этого предприятия: в конечном итоге этот индекс учитывает по большей части работы, написанные на английском языке. По мнению Гарфилда, французская наука провинциальна, потому что она не приняла английский язык в качестве языка науки. Что касается социальных наук, такое утверждение по меньшей мере нелепо; при этом, если вы переведете и продадите свою статью сотне тысяч китайских, бразильских или индонезийских учёных, это ничего не даст для вашего индекса цитирования, разве что они выразят свою благодарность в англоязычном журнале или в одном из горстки иноязычных журналов, включенных в волшебный список.

Обратите внимание и на то, что индекс цитирования чисто статистически должен давать преимущество специализациям, по которым производится больше всего исследований, т. наз. «научному мейнстриму» или, выражаясь языком Куна, «нормальной науке». Наконец, заметьте, что «объективированная субъективность» индекса цитирования в сфере общественных наук интересуется исключительно настоящим временем. А если современное направление исследований через три года признают тупиковым? Нынешняя волна публикаций и произведенный ею статистический пик может позволить счастливому

исследователю, невзирая на явную ошибку, по-прежнему почивать на лаврах.

Распространяться о недостатках индекса научного цитирования нет нужды. Они интересуют нас лишь потому, что демонстрируют неизбежный разрыв между способами измерений такого рода и качеством, которое они пытаются измерить. Печально, что многие из вышеперечисленных недостатков можно исправить реформами и усовершенствованием методик расчёта индекса, потому что на практике предпочтительны более схематичные, абстрактные и простые в вычислении способы измерения — из-за легкости их использования и, соответственно, более низкой стоимости. Однако кажущееся объективным измерение количества упоминаний скрывает в себе множество «условностей подсчёта», тайком проникших в оценки, глубоко политических по своей сути и имеющих далеко идущие последствия.

Мои насмешки над индексом научного цитирования могут показаться чрезмерными. Однако то, о чём я говорю, относится к любому количественному стандарту, который применяется строго. Возьмём в качестве примера кажущееся оправданным требование «двух изданных книг», часто применяемое на некоторых кафедрах в Йельском университете при принятии решений о присвоении звания профессора. Сколько учёных всего одной книгой или статьей сумели произвести больше интеллектуальной энергии, чем всеми своими работами произвели другие, более «продуктивные» в количественном отношении ученые? Благодаря рулетке нам становится ясно, что и картина Вермеера, и коровья лепешка обе по полметра в ширину; однако на этом их сходство заканчивается.

Второй фатальный недостаток заключается в том, что даже если какой-нибудь метод измерения был вполне пригоден сразу же после того, как его изобрели, само его существование обычно запускает последовательность событий, которая делает его непригодным. Можно назвать этот процесс «изменением поведения под влиянием измерения», что лишает его всякого смысла. Я слышал о том, что существуют договоренности между некоторыми учеными о том, что они будут постоянно ссылаться друг на друга и таким образом повышать свой индекс цитирования! Сговор такого рода — это всего лишь крайность, иллюстрирующая более важное явление. Достаточно одного знания того, что индекс цитирования может способствовать или препятствовать дальнейшему карьерному росту, чтобы это знание оказывало немалое влияние на профессиональное поведение: этим объясняется, например, притягательность мейнстримовых методологий и отраслей, в которых работает множество исследователей, выбор журналов для публикации, всеобщее восхищение, которым окружены самые известные деятели в каждом направлении. Такое поведение необязательно говорит об изворотливости в стиле Макиавелли. Вместо этого мне хочется указать на постоянное давление со всех сторон, направленное на то, чтобы заставить человека вести себя «целесообразно». В долгосрочной перспективе это давление служит для естественного отбора в сугубо дарвиновском смысле, которое увеличивает шансы на выживание для тех, кто выполняет или перевыполняет прогнозные показатели.

Индекс цитирования — это не просто порождение действительности; он сам способен продуцировать явления, которые описывает. Социальные теоретики были настолько впечатлены этим, что даже попытались сформулировать это в виде закона, который носит



имя Гудхарта: «Когда способ измерения становится самоцелью, он перестаёт быть хорошим способом измерения» [35]. Мэтью Лайт поясняет: «После того, как установлен некий количественный порог для оценки определённых достижений, те, кто должен преодолеть этот порог, умудряются сделать это, но не так, как первоначально ожидалось».

Поясню то, что я имею в виду, на историческом примере. Во времена, когда Францией правили короли, сборщики налогов пытались найти способ облагать налогом дома в зависимости от размера. Им пришла в голову блестящая идея: рассчитывать размер налога исходя из количества окон и дверей.

Сначала всё шло как нельзя лучше: количество окон и дверей почти идеально характеризовало размер жилища. Однако в течение двух последующих веков налог на окна и двери привел к тому, что люди стали перестраивать дома и закладывать окна, чтобы уменьшить налог. Из-за этого на протяжении поколений французы задыхались в плохо вентилируемых «налоговых убежищах». Так адекватный способ стал неадекватным.

И историей с окнами в дореволюционной Франции такие методы не ограничиваются. На самом деле, похожие методы оценки и контроля качества стали господствовать в сфере образования по всему миру. В Соединенных Штатах единый тест стал олицетворять метод количественного измерения, позволяющий объективно определить достаточные для получения высшего образования способности. С той же легкостью мы могли бы перенять опыт «экзаменационного ада», который в других странах выпускники вынуждены преодолевать на пути к обучению в университете, а значит, и к возможностям для карьерного роста.

Достаточно сказать, что в отношении образования единый тест — больше, чем хвост, который виляет собакой. Он изменил породу собаки, её аппетит, условия её обитания и жизни всех, кто о ней заботится и её кормит. Это яркий пример колонизации. Набор количественных наблюдений, повторим, создаёт что-то подобное принципу неопределенности Гейзенберга, где стремление достичь результата полностью преобразует поле измерения. Портер напоминает нам, что «...количественные методы лучше всего работают, если мир, который они стараются описать, может быть переделан по их образу и подобию» [36]. Иными словами, единый тест пересоздал образовательный процесс по своему чёрно-белому образу и подобию, и теперь с помощью этого теста измеряется то, что получилось в результате его собственного воздействия.

Таким образом, стремление изменить интеллектуальный уровень с помощью стандартных тестов и использование этих тестов для вознаграждения учащихся, учителей и школ приводит к искажениям и колонизации. На интенсивных курсах и методиках улучшения результатов тестов, которые, как обещалось, устойчивы к подобным ухищрениям, работает уже настоящая многомиллионная индустрия. Огромная бизнес-империя Стэнли Каплан, занимающаяся продажами курсов и учебников для подготовки к тестам, была основана на лозунге, согласно которому к успешному прохождению теста и поступлению в колледж, на юридический факультет, медицинский факультет и т. д., можно подготовиться. Возвращаются всемогущие критерии оценивания, которые захватывают и колонизируют образовательную сферу; инструмент для измерения заменяет качество, которое он должен

был оценивать. Начинается что-то вроде гонки вооружений, где составители тестов пытаются перехитрить тех, кто продаёт курсы по подготовке к тестам. В итоге инструмент измерения разрушает желаемое качество. Получается, когда становятся известны качества, которыми должен обладать успешный абитуриент университета из Лиги плюща, возникает возможность перехитрить систему. Богатые родители нанимают консультантов, которые советуют их детям, какие внешкольные занятия им следует посещать и какой волонтерской деятельностью им следует заниматься для того, чтобы поступить в один из университетов Лиги плюща. То, что некогда было способом добросовестно оценивать качество подготовки, становится стратегией, которую родители используют для продвижения своих детей.

Оценить смысл или правильность поведения, искажённого оценкой, становится практически невозможным. Стремление измерять производительность обезличенно и объективно, используя при этом количественные показатели, безусловно, является неотъемлемой частью технологии управления, которую Роберт Мак-Намара принес с собой в Пентагон из компании Форд и в дальнейшем использовал во время войны в Индокитае. Как ещё можно оценить успехи в войне, на которой нет строго очерченного фронта? Мак-Намара попросил генерала Уэстморланда: «Пожалуйста, предоставьте мне график, из которого будет видно, выигрываем мы войну во Вьетнаме или проигрываем». В ответ ему предоставили как минимум два графика: один, самый скандально известный — это график потерь, в котором учитывались потери среди солдат противника. Поскольку на тех, кто производил подсчеты, оказывалось невероятное давление, и они осознавали, что данные, которые они предоставляют, непосредственно влияют на их карьерный рост, награды и отпуска, они всячески старались зависить потери противника. Они избегали того, чтобы делить потери на потери среди гражданского населения и среди солдат противника; почти все убитые со стороны противника записывались как военные потери. Вскоре число потерь среди солдат противника стало больше, чем совокупная численность так называемого Вьетконга и армии Северного Вьетнама, хотя на самом деле враг вовсе не был побеждён.

Второй индекс был попыткой оценить симпатии гражданского населения. В его основе лежала система оценки симпатий по районам: каждый из 12000 районов Южного Вьетнама был охарактеризован как «покорённый», «спорный» или «враждебный». И снова нужно было постоянно показывать прогресс, и пути, которыми этого можно было добиться, были найдены: достойные самого Григория Потемкина, фаворита императрицы Екатерины. Приписки, созданные на бумаге отряды ополчения, замалчивание случаев активности повстанцев — всё для того, чтобы на графике было видно улучшение. Случался и откровенный подлог, хотя он и был не столь распространен, как понятное желание разрешать все спорные вопросы в том ключе, который способствовал благоприятной оценке и продвижению по службе.

Казалось, что постепенно местность возвращалась к мирной жизни. Мак-Намара придумал дьявольскую систему контроля, которая не только создавала простой симулякр прогресса, но и препятствовала более широкому обсуждению того, что в данных обстоятельствах могло представлять собой прогресс. Им не мешало бы обратить внимание на слова настоящего ученого — Эйнштейна: «Не всё важное может быть подсчитано, и не всё, что может быть подсчитано, действительно важно».

Наконец, ещё один, более современный пример подобного тренда — это крушение корпорации Энрон, о котором до сих пор помнят многие американские инвесторы. В 1960-х годах бизнес-школы волновала проблема: как сделать так, чтобы управляющие корпорациями не ставили собственные интересы выше интересов акционеров. Решение, которое они предложили, заключалось в том, чтобы привязать зарплату топ-менеджеров к успехам компании, выражающимся в прибыли для акционеров (цене акций). Поскольку их зарплата в опционах, как правило, ежеквартально, менялась в зависимости от курса акций, менеджеры ответили на это тем, что немедленно снюхались с бухгалтерами и аудиторами и принялись оформлять бумаги так, чтобы выполнять квартальный план по росту стоимости акций и получать за это премии. Чтобы завесить стоимость акций компании, они приписывали прибыль и скрывали издержки таким образом, чтобы убедить биржевых игроков ставить на повышение цены их акций. Вот чем обернулась попытка сделать оценку эффективности управленцев полностью прозрачной с помощью замены зарплат на опционы.

Похожее стремление «обмануть систему» лежало у истоков махинаций с ипотечными кредитами, которые привели к мировому финансовому кризису 2008 года. Агентства, присваивающие рейтинг облигациям, не только получали деньги от эмитентов, но и, опять-таки для пущей прозрачности, сделали формулы, по которым они рассчитывали рейтинг, доступными для инвестиционных компаний. Зная, как рассчитывается рейтинг, и для большей уверенности подкупив тех, кто его рассчитывает, компании подстроились под формулы таким образом, что чрезвычайно рискованные финансовые инструменты получили высший рейтинг (AAA). И вновь по всем расчетам всё хорошо, а пациент возьми и умри.

## Фрагмент 25. Демократия, заслуги и конец политики

Мне представляется, что количественные показатели качества кажутся настолько привлекательными по двум причинам: во-первых, они подпитывают веру в равные возможности, которые якобы выше полученных по наследству привилегий, богатств и титулов, а во-вторых, отвечают модернистской убежденности в возможности измерить заслуги посредством науки.

Применение законов науки и количественных показателей к большинству социальных проблем, по мнению модернистов, должно было пресечь бесплодные споры после установления реальных фактов. В основе этого взгляда на мир лежит глубоко скрытая политическая повестка. В этом мировоззрении существуют факты, обычно количественные, которые не нуждаются в интерпретации. Их использование должно нивелировать воздействие переживаний, чувств, предрассудков, привычек, преувеличений и эмоций, разрушающее общество. Способом разрешения конфликтов должен стать холодный расчет, а страсти и частные интересы должны быть заменены на нейтральное, чисто техническое обсуждение. Модернисты от науки надеялись минимизировать порождаемые субъективностью и частными интересами искажения, чтобы достичь «бесперспективной объективности», или, пользуясь выражением Лоррейн Дастон, взгляда из ниоткуда [37].

Наиболее соответствующий такому мировоззрению политический режим — это равнодушная и безликая технократия: власть с инженерным образованием, использующая научное знание для управления людьми. Эту идею считали новым «проектом насаждения цивилизации». Рационально мыслящие и настроенные на реформы американские прогрессисты начала XX века и, как это ни странно, Ленин считали, что объективное научное знание позволит «административным процедурам» в большой степени заменить собой политику. Проповедуемое ими евангелие от эффективности, технической подготовки и инженерных решений подразумевало, что миром должна управлять хорошо подготовленная, рациональная и профессиональная элита.

Идея о том, что власть должна принадлежать лучшим, — естественный спутник демократии и научного модернизма [38]. Принадлежность к правящему классу более не зависит от благородного происхождения, полученного по наследству богатства или статуса. Правители должны избираться и становиться легитимными благодаря их умениям, интеллекту и проявленным ими знаниям (на этом я останавлиюсь и замечу, что другие качества, которые, возможно, неплохо было бы видеть у власть предержащих — например, сострадание, мудрость, мужество или большой опыт — в таком случае совершенно ускользают из виду). Согласно тогдашним представлениям образованных людей, считалось, что уровень интеллекта можно измерить. Большинство образованных людей считали также, что умственные способности были распределены между людьми если не совершенно случайным образом, то, по крайней мере, куда более равномерно, чем богатство или титулы. Сам принцип предоставления положения в обществе и перспектив тем, кто этого заслуживает, была глотком демократически свежего воздуха. Для общества в целом этот принцип обещал стать тем же, чем стал введенный Наполеоном для нового среднего класса профессионалов принцип карьерного роста в зависимости от таланта за век до этого во Франции.

Понятие о том, что достоинство человека поддается измерению и что от него зависит положение этого человека в обществе, было демократическим ещё в одном смысле: оно существенно ограничивало притязания на власть, свойственные профессиональным классам. Исторически различные профессии представляли собой ремесленные цеха, которые устанавливали свои собственные стандарты, ревностно оберегали секреты ремесла и не терпели никакого внедрения извне, которое могло противоречить их решениям. Адвокаты, врачи, бухгалтера, инженеры и преподаватели университетов — всех их принимали на работу для того, чтобы они высказывали своё экспертное мнение, хотя это мнение и бывало непонятным и туманным.

## Фрагмент 26. В защиту политики

“ Ошибки, совершаемые революционным движением трудящихся, неизмеримо плодотворнее и ценнее, чем непогрешимость любой партии.

Роза Люксембург

Когда люди полагаются на количественное измерение заслуг и объективные системы контроля качества, нет ничего хуже, чем замена жизненно важных и нуждающихся в обсуждении вопросов мнениями индифферентных экспертов. Именно этот сомнительный поиск жизненно важных решений, от которых зависит жизнь миллионов людей и общин, за рамки политики приводит к тому, что общественные отношения лишаются того, что априори к ним относится. Если и существует убеждение, разделяемое как анархистскими мыслителями, так и истинными либералами, которые суть не демагоги, то это вера в способность граждан учиться и развиваться благодаря участию в общественной жизни. Мы уже задавались вопросом, как человека воспитывает работа в офисе или на заводе, теперь настало время спросить, как именно политический процесс может расширить знания и способности гражданина.

В этом отношении убежденность анархистов в способности обычных людей обучаться посредством участия в общественной жизни на основе взаимности и без иерархии намного превосходит замкнутый круг демократического дискурса. Мы видим это стремление к отрицанию политики использования индекса научного цитирования, единого тестирования и повсеместно распространенного ныне анализа преимуществ и затрат.

Индекс научного цитирования является антиполитическим, потому что он подменяет псевдонаучными вычислениями здоровое обсуждение качества. Настоящая политика в какой-либо дисциплине, по крайней мере, заслуживающей внимания, — это диалог о ценностях и знаниях. Я не питаю иллюзий по поводу того, насколько качествен обычно этот диалог. Влияют ли на него частные интересы и стремление к самоутверждению? Несомненно. Они есть везде. Однако эту дискуссию о качестве, как бы несовершенна она ни была, заменить просто нечем. Она определяет характер дисциплины, проявляющийся в обзорах, во время практических занятий, в круглых столах, дебатах о программах обучения, в найме на работу преподавателей и их продвижении по службе. Любая попытка ограничить эту дискуссию, например, через балканизацию дисциплины, т. е. её разбиение на полуавтономные подразделы, через следование строгим количественным стандартам или тщательно продуманным системам оценки приводит лишь к замораживанию текущего положения дел.

Система централизованного тестирования на протяжении последнего полувека как открывала, так и закрывала перспективы для миллионов студентов. Она позволила сформировать новые элиты. Неудивительно, что теперь они взирают на систему, позволившую им взобраться наверх, с благосклонностью. Она открыта, прозрачна и беспристрастна лишь в той степени, в которой элиты и их присные считают ее справедливым способом оценить тех, кто достоин продвижения. Она в большей степени, чем богатство или происхождение, позволяет победителям этого соревнования ощущать, что они честно заслужили свой успех, хотя корреляция между баллами на тестировании и социоэкономическим статусом достаточно красноречиво демонстрирует по-настоящему беспристрастному наблюдателю, что этот тест не является дверью, открытой для всех. В сущности, единое централизованное тестирование позволило сформироваться элите, которая выбрана более беспристрастно, нежели её предшественники, и поэтому является более легитимной, а значит, и более склонной к защите и укреплению института, благодаря которому они стали лидерами.

В то же время в политической жизни мы многое теряем. Влияние централизованного тестирования убеждает многих белых представителей среднего класса в том, что созидательная деятельность состоит в суровом выборе между объективными достоинствами, с одной стороны, и личными предпочтениями с другой.

Нам не хватает общественного обсуждения путей распределения возможностей, которые дает образование, в обществе демократии и равенства. Нам недостает дискуссии о том, какие качества мы хотели бы видеть в наших лидерах, в том числе в школах, потому что образовательные программы лишь отражают узкую перспективу, сформированную единым государственным экзаменом.

То, каким образом спорные утверждения проникают в саму структуру большинства оценок качества и количественных индексов, может проиллюстрировать пример из другой сферы социальной политики. Анализ выгод и затрат, который впервые применили инженеры французской Школы мостов и дорог, теперь вовсю используется всевозможными агентствами по развитию, структурами, занимающимися планированием, инженерным корпусом армии Соединенных Штатов и Всемирным Банком практически во всех их проектах, и является ярким подтверждением всего вышесказанного.

Анализ выгод и затрат представляет собой набор методик, по которым оценивается скорость окупаемости конкретного проекта — дороги, моста, дамбы, порта и т. д. Для этого необходимо, чтобы все понесенные затраты и получаемые выгоды были монетизированы, дабы их можно было сравнить. Поэтому издержки, связанные, скажем, с гибелью какого-то вида рыб, с потерей красивого ландшафта, с сокращением рабочих мест или с загрязнением воздуха, если мы собираемся их включать в анализ, должны быть выражены в долларах. Для того, чтобы это осуществить, требуются героические допущения. Так, для того, чтобы оценить, сколько стоит живописный вид из окон, жителей спрашивают, сколько они готовы дополнительно заплатить в качестве налогов за то, чтобы сохранить этот вид. Названная ими сумма принимается за реальную стоимость! Если рыбаки продают рыбу, которой угрожает гибель из-за постройки новой дамбы, то потеря прибыли включается в анализ издержек. Если же рыбу не продают, то в анализе она не учитывается. Возможно, скопы, выдры и крохали и расстроятся от того, что им нечем будет питаться, но в счёт идут только потери для человека.

Издержки, которые нельзя монетизировать, в анализ не включаются. Например, когда индейское племя отказывается от денежной компенсации и объявляет, что могилы их предков, которые будут затоплены в результате строительства дамбы, «бесценны», это не соответствует логике анализа выгоды и затрат и поэтому не учитывается. Всё — и выгоды, и потери — должно быть приведено к общему знаменателю и представлено в денежном выражении, чтобы можно было рассчитать окупаемость: вид на закат, форель, качество воздуха, рабочие места, рекреационные зоны, качество воды. Самым героическим допущением в анализе выгод и затрат, вероятно, является оценка будущего.

Возникает вопрос: как посчитать потенциальные выгоды — например, постепенное улучшение качества воды или перспективу создания новых рабочих мест? Общее правило гласит, что всё это рассчитывается, исходя из текущей или средней процентной ставки. На

практике это означает, что через пять лет почти любая прибыль, кроме сверхприбылей, будет ничтожной. Вот так ключевое политическое решение о ценности будущего протаскивают в формулу расчета выгод и затрат под видом простой бухгалтерской условности.

Помимо свойственных анализу выгод и затрат манипуляций, даже при аптечной точности своего применения он наносит огромный вред тем, что полностью исключает из процесса принятия общественно значимых решений политику. Портер приписывает внедрение такого рода методов в США «недоверию бюрократическим элитам» и предполагает, что Соединенные Штаты «...куда больше, чем любая другая промышленного развитая демократическая страна, полагаются на правила, установленные для того, чтобы контролировать официальную точку зрения» [39].

Вот почему методы проверки, при которых необходимо добиться максимальной объективности путём подавления всякой самостоятельности, являют собой и апофеоз технократии, и её проклятие. Каждая такая методика — это попытка заменить подозрительные и кажущиеся недемократичными действия профессиональных элит на прозрачную, механистическую, очевидную и, как правило, основанную на количественных показателях процедуру оценки. Оба варианта сверху донизу полны противоречиями, так как эта новая методика также стала ответом на политическое давление — этот шумный народ алкал процедур принятия решений, а значит, и распределения благ, которые были бы открыты, прозрачны, то есть в принципе доступны.

Хотя анализ выгод и затрат является ответом на политическое давление масс (и в этом заключается первый парадокс), его успех полностью зависит от внешнего вида — якобы он абсолютно вне политики, объективен, беспристрастен и смахивает на научный. Конечно, под этой личиной анализ выгоды и затрат носит сугубо политический характер, спрятанный в методиках расчета. Он определяет, что измерять в первую очередь, как это измерять, какую шкалу измерения использовать, что и как «сбрасывать со счетов» и «сопоставлять», как переводить наблюдения в цифры и как использовать эти цифры в процессе принятия решений. Парируя обвинения в предвзятости и приукрашивании, эти методики — и в этом заключается второй парадокс — блестяще справляются с внедрением на уровне процедур и условий подсчёта определённой политической повестки, что делает её вдвойне непрозрачной и недоступной.

Когда политическая атмосфера благоприятна, методы вроде единого тестирования, анализа выгод и затрат, да даже коэффициента интеллекта выглядят так же солидно, объективно и бесспорно, как показатели артериального давления, температуры тела, уровня холестерина и количества эритроцитов. Эти показатели абсолютно обезличены, а что касается их истолкования, то «доктору виднее».

Создается видимость того, что они устраняют из процесса принятия решений прихотливый человеческий фактор. И действительно, по мере того, как эти методики и их глубоко укоренившиеся и откровенно политические предпосылки становятся общепризнанными, они ограничивают простор для чиновничьего злоупотребления. При обвинении в предвзятости чиновник может заявить, и в какой-то степени это будет правдой, что он «всего лишь

нажимает на кнопку» принимающей решения аполитичной машины. Таким агрегатам жизненно необходима защита в виде объяснений, почему их обоснованность меньше волнует общество, чем стандартизация, точность и беспристрастность. Даже если индекс научного цитирования не может измерить качество работы ученого, даже если результаты на едином централизованном тесте не измеряют уровень знаний учащихся или не предсказывают их успех в колледже, каждый из этих способов оценивания представляет собой беспристрастный и точный общественный стандарт, прозрачный набор правил и целей.

Когда такие инструменты используются надлежащим образом, они позволяют волшебным образом превратить свирепую борьбу за ограниченные ресурсы, за жизненные перспективы, за выигрыши тендеров на мегапроекты и за статус в технические, аполитичные решения, которые принимают абсолютно нейтральные чиновники. Критерии принятия таких решений очевидны, стандартизированы и заранее известны. Произвол и политическая ангажированность как будто бы исчезают благодаря методикам, которые по сути целиком заполнены предрешенным выбором и политическими предпосылками, на этот раз надёжно замаскированными от взгляда общественности.

Широкое распространение количественных показателей не ограничивается рамками какой-либо одной страны, какой-то одной сферой общественной политики или настоящим временем. Совершенно очевидно, что на их нынешнее воплощение в форме «общества контроля» повлияло возникновение крупных корпораций, чьи акционеры стремятся измерить продуктивность и результаты деятельности, а также неолиберальная политика в сфере общественного управления 1970–1980-х годов, примерами которой являются Тэтчер и Рейган с их акцентом на «получение достойного качества за свои деньги», с заимствованием методов управления из частного сектора и стремлением установить рейтинговую и балльную систему оценки школ, больниц, отделений полиции, отделов пожарной охраны и т. д. Как ни парадоксально, более глубинная причина этого состоит в демократизации и спросе на политический контроль административных решений.

Соединенные Штаты, по-видимому, резко отличаются от других стран своим отношением к контролю и количественным показателям. Ни одна другая страна не восприняла количественные способы оценки в образовании, военном деле, общественно значимых проектах и в вопросах оплаты труда руководителей с таким же энтузиазмом, как это сделали в США. Наперекор их представлению о самих себе как о нации суровых индивидуалистов, американцы — один из самых законопослушных народов и постоянно находятся под наблюдением.

Самый крупный изъян всех этих административных технологий в том, что во имя равенства и демократии они служат огромной «аполитичной машине», которая выводит из сферы общественных отношений многие вопросы, подлежащие общественному обсуждению, и ввергает их в руки технических и административных комитетов. Они препятствуют потенциально важным и полезным дискуссиям на социально-политические темы — о значении разума, об избрании элит, о ценности равенства и разнообразия, а также о цели экономического роста и развития. В общем, эти технологии — средство, с помощью которого технические и административные элиты пытаются убедить скептически настроенную



общественность (исключив при этом ее из обсуждения) в том, что они не дают никому преимуществ, не чинят произвол, а только лишь непредвзято выполняют прозрачные технические расчеты.

Сегодня эти технологии являются отличительной особенностью неолиберального политического режима, при котором технологии неоклассической экономики заменили остальные способы мышления во имя научного расчета и объективности [40]. Я думаю, вы поймете, о чём я говорю, когда услышите, как кто-нибудь говорит: «Я много инвестировал в него/неё», или упомянет социальный или человеческий «капитал», или, наконец, скажет об «упущенной выгоде» в отношениях с людьми.

# Глава 6. Отличия и изменчивость

“ Историю пишут учёные мужи, поэтому для них естественно и сообразно думать, что действия их класса — основа для движения всего человечества.

Лев Толстой. Война и мир

## Фрагмент 27. Доброта и сострадание в розницу

Героизм жителей французского городка Шамбон-сюр-Линьон в департаменте Верхняя Луара, приютивших, кормивших и прятавших более пяти тысяч попавших во Францию времен Виши беженцев, среди которых было немало еврейских детей, ныне вписан в анналы сопротивления нацизму. В книгах и фильмах прославлены множество неprimетных и храбрых поступков, благодаря которым эти люди были спасены.

Здесь мне хотелось бы подчеркнуть уникальность каждого из этих подвигов: несмотря на то, что это как будто не вписывается в привычную канву рассказа о религиозном сопротивлении антисемитизму, разговор об особенностях каждого отдельно взятого поступка может помочь нам лучше понять, почему люди проявляют милосердие и сострадание.

Многие жители Шамбон-сюр-Линьон были гугенотами, а два пастора, которые служили в этой деревне, были, пожалуй, самыми влиятельными и уважаемыми людьми в округе, и потому воспоминания о религиозном преследовании и бегстве были частью их коллективной памяти начиная чуть ли не с Варфоломеевской ночи. Задолго до гитлеровской оккупации они проявили сострадание по отношению к жертвам фашизма тем, что давали приют беженцам из Испании Франко и Италии Муссолини. То есть и убеждениями, и жизненным опытом они были предрасположены к состраданию беженцам из авторитарных государств, в том числе и евреям как библейскому народу.

Однако перевести это сострадание в практическую и гораздо более опасную, особенно при режиме Виши, плоскость было не так просто. В ожидании прибытия евреев пасторы-гугеноты стали мобилизовать прихожан на предоставление тайных укрытий и запасание

пищи, которая, как они знали, вскоре понадобится. После уничтожения свободной зоны на юге Франции обоих пасторов арестовали и отправили в концлагерь. В этих ужасающих обстоятельствах жены пасторов взяли на себя работу своих мужей и продолжали готовить продукты и убежища для евреев. Они спрашивали соседей, и фермеров, и сельчан, смогут ли те помочь в урочный час. Часто ответ был отрицательным: обычно те выражали сочувствие беженцам, но не желали брать на себя риск, укрывая их и обеспечивая их пищей. Они оправдывали себя тем, что им нужно было защищать собственные семьи, а если они начнут укрывать евреев, на них могут донести в гестапо, и тогда им и их семьям не поздоровится. Конкретные обязательства перед семьями перевешивали более абстрактное сострадание к евреям, и жены пасторов отчаялись организовать группу поддержки беженцев.

Тем временем, не зная о том, готовы французы или нет, появились еврейские беженцы, которые просили помощи. То, что случилось потом, очень важно для понимания уникальности каждого социального (в данном случае гуманитарного) действия. Теперь у жен пасторов были реально существующие евреи, и они сделали еще одну попытку. К примеру, они приводили пожилого, худого, дрожащего от холода еврея к дверям дома фермера, который ранее отказывался помогать, и спрашивали: «Может быть, вы покормите нашего друга и дадите ему тёплую одежду, а потом покажете ему дорогу в другую деревню?» Теперь перед фермером стоял живой человек, который смотрел ему прямо в глаза умоляющим взглядом, и отказать ему было труднее. Или, например, жёны пасторов приходили к двери небольшого домика с маленькой еврейской семьёй и спрашивали: «Не снабдите ли вы эту семью одеялом и миской супа, и не позволите ли вы им переночевать у вас в сарае одну-две ночи, а потом они отправятся в сторону швейцарской границы?» Лицом к лицу с реальными жертвами, судьба которых ощутимо зависела от их помощи, мало кто отказывался помочь, хотя это и не перестало быть рискованным предприятием.

После того, как жители деревни единожды помогли евреям, они, как правило, помогали беженцам и впоследствии. Иными словами, они смогли извлечь из этого практического проявления солидарности, из своих реальных действий урок о том, что это правильно с этической точки зрения. Они не провозглашали принцип, чтобы затем ему следовать — вместо этого они действовали, и лишь потом находили в этих действиях логику. Теорию породила практика, а не наоборот.

Франсуа Роша противопоставляет эту модель поведения тому, что Ханна Арендт назвала «банальностью зла», и утверждает «банальность доброты» [41]. Мы не очень ошибёмся, если назовём это уникальностью доброты или, пользуясь словами Торы, примером того, как сердце следует за рукой.

Частные примеры идентификации и сострадания — рабочая гипотеза для журналистики, поэзии и благотворительной деятельности. Люди с трудом открываются, либо открывают сердца или кошельки во имя чего-то абстрактно-грандиозного — вроде безработных, голодающих, беженцев или евреев. Но если вы покажете им во всех подробностях, с фотографиями, женщину, которая потеряла работу и живет в машине, или семью беженцев, которые вынуждены пробираться сквозь лес, питаясь корнями и корой, то вам, вероятно, удастся вызвать сочувствие даже у незнакомых людей. Множество жертв едва ли

воплощает в себе одну жертву, но одна жертва часто является олицетворением целого класса.

Этому принципу следовал самый трогательный мемориал памяти жертв Холокоста, какой мне когда-либо приходилось видеть: выставка в большой ратуше Мюнстера, где был подписан Вестфальский договор в 1648 году, ознаменовавший собой окончание Тридцатилетней войны. Судьба каждой еврейской семьи, которых было около шести тысяч, отражалась улица за улицей, дом за домом, имя за именем. Обычно рассказ о каждой семье сопровождался фотографией дома, в котором они жили (большинство этих домов до сих пор существуют, так как Мюнстер практически не подвергался бомбардировкам союзников), указанием адреса, иногда идентификационной карточкой или паспортом, фотографиями членов семьи по отдельности и вместе — на пикнике, на праздновании дня рождения или просто общего фото — и заметкой об их дальнейшей судьбе: «погибли в лагере Берген-Бельзен», «бежали во Францию, затем на Кубу», «переехали в Израиль из Марокко», «бежали в Лодзь, Польша, дальнейшая судьба неизвестна». Довольно часто фотографии вообще не было — только прямоугольник, указывающий на место, где она должна была быть.

Выставка эта предназначалась в первую очередь для жителей Мюнстера. Они двигались от улицы к улице и видели евреев, их собственных соседей или соседей их родителей, бабушек и дедушек — их дома, их лица, часто запечатлённые в счастливые моменты жизни. Уникальность, индивидуальность и повторяемость сделали выставку запоминающейся в буквальном смысле этого слова [42]. Насколько же больше она трогала сердца людей, чем навязшие в зубах коллективные мемориалы погибшим евреям, гомосексуалам («Здесь собирали гомосексуалов, чтобы отправить их в концентрационный лагерь»), инвалидам и цыганам (рома и синти)! [43]

Но самым удивительным в этой выставке было то, как она была создана. Сотни жителей Мюнстера трудились более десяти лет, прочесывая архивные записи, проверяя сообщения о смерти, находя выживших и вступая в переписку с теми тысячами людей, которых они смогли разыскать, объясняя им, какую выставку они готовят, и спрашивая, помогут ли корреспонденты с составлением экспозиции своими фотографиями или сведениями. Разумеется, многие отказались; некоторые все-таки что-то прислали, и всё же немалое число тех, кому были написаны письма, сами приехали в Мюнстер. Результат этой работы говорил сам за себя, но изучение историй семей, поиск выживших и их потомков, сам процесс написания личных писем соседям, отмеченным желтой звездой, через пустоту истории и самой смерти был очищающим и просветляющим признанием трагического общего прошлого. Многие из тех, кто готовил выставку, во время холокоста ещё даже не родились, и можно себе лишь представить эти печальные воспоминаний и тысячи грустных бесед, которые вели меж собой разные поколения Мюнстера.

## Фрагмент 28. Возвращаясь к уникальности, изменчивости и

# случайности

Задача истории и социологии по большей части состоит в том, чтобы подытожить, кодифицировать и «упаковать» заслуживающие внимания общественные деяния и основные исторические события таким образом, чтобы сделать их понятными и доступными. С учетом этого, а также ввиду того, что события, которые они стремятся объяснить, уже произошли, едва ли удивительно, что историков и социологов обычно мало интересует замешательство, изменчивость и беспокойная случайность, которым подвластны исторические деятели, не говоря уже о простых людях, действия которых они изучают.

Эти рассказы производят обманчивое впечатление ясности еще и потому, что они принадлежат истории. События, о которых идет речь, просто случились, причем именно так, а не иначе, и из-за этого порой бывает трудно осознать, что участники этих событий вряд ли могли предвидеть, как все обернется и что при немного иных обстоятельствах все могло кончиться совсем по-другому. Как говорится, «не было гвоздя — подкова пропала, не было подковы — лошадь захромала, лошадь захромала — командир убит, конница разбита — армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, оттого что в кузнице не было гвоздя».

То, что мы, в отличие от непосредственных участников событий, знаем, что произошло на самом деле, неизбежно повлияет на наш рассказ о событиях и уберёт из него большую часть того, что можно назвать случайным. На мгновение представим человека, покончившего с собой. Друзья и родственники самоубийцы почти неизбежно будут рассказывать о несчастном так, чтобы объяснить его суицид. Вполне вероятно, что причиной самоубийства был кратковременный гормональный дисбаланс, сиюминутная паника или внезапное трагическое известие: в таком случае переписывать всю биографию человека, чтобы объяснить суицид означает неверно её понять.

Естественное желание создать связное повествование о собственной жизни и поступках, даже если это невозможно, постфактум упорядочивает то, что на самом деле происходило совершенно случайно. Жан-Поль Сартр приводит выдуманный пример: человек вынужден выбирать между тем, чтобы оставаться дома и заботиться о больной матери или идти на фронт защищать свою страну (вместо этого можно подставить любой другой выбор — бастовать или оставаться на работе, идти демонстрацию или не идти, и пр.). Он никак не может выбрать, но день, в который он должен принять решение, приближается с неумолимостью поезда, и вот ему надо сделать что-то одно, хотя он до сих пор не решил, что именно. Допустим, он остался ухаживать за больной матерью. На следующий же день, пишет Сартр, он будет в состоянии объяснить себе и другим, почему он из тех, кто выбирает остаться с больной матерью. Поступив так, а не иначе, он должен будет найти объяснение своим поступкам. Однако это объяснение ложное — это попытка найти смысл и создать удовлетворительное объяснение поступку, который невозможно объяснить по-другому.

То же самое можно сказать и о грандиозных случайностях, определивших ход истории. В исторических книгах, как и в общественном восприятии, их непреднамеренное наступление не только отрицается — историческим деятелям подспудно приписываются намерения и

сознание, которого они иметь не могли. Французская революция, естественно, превратила почти всю историю Франции XVIII века в прелюдию 1789 года. Революция была не одномоментным событием, но процессом, в гораздо большей степени зависящим от погоды, неурожая, географии и демографии Парижа и Версаля, чем от идей, придуманных философами. Те, кто штурмовал Бастилию, чтобы освободить заключённых и захватить оружие, вряд ли знали, к чему это в итоге приведёт, и едва ли намеревались свергнуть монархию и аристократию. И уж тем более они не знали, что они участвовали в том, что впоследствии назовут Великой Французской революцией.

После того, как важное историческое событие случилось и было зафиксировано, оно начинает свою жизнь в качестве символа и, если люди недостаточно осторожны, они начинают приписывать ему логику и упорядоченность, которые вопиюще противоречат тому, что на самом деле чувствовали участники этого события. Представляется, что жители Шамбон-сюр-Линьона, которых сейчас считают примером, поступали более или менее сообразно религиозным принципам гугенотов, в то время как при ближайшем рассмотрении мы увидели, что их храбрость имела более сложные и поучительные истоки. То же относится и к русской революции, и к американской революции, и к Тридцатилетней войне — кто на пятом её году знал, что она продлится ещё двадцать пять лет? Парижская коммуна 1871 года, движение за гражданские права в США, события 1968 года в том же Париже, история движения «Солидарность» в Польше и прочие исторические события, которые сложны для объяснения, имеют те же признаки. О случайности, лежащей в их основе, обычно умалчивается; сознание участников событий представляется упрощенно, и зачастую дело представляют так, как будто бы они заранее знают, что получится в итоге, и водоворот попыток понять происходящее и его предпосылки выглядит тихой заводью.

То, как мы воспринимаем события при чтении учебников истории, можно сравнить с тем, какими нам видятся по телевизору баскетбольные или хоккейные матчи. Камера подобно вертолёту, зависшему над полем показывает происходящее на площадке сверху. В результате такого взгляда с высоты птичьего полета зритель отдаляется от игры и ощущает её медленнее, чем она на самом деле происходит. А чтобы зритель не пропустил ни одного интересного момента, используется замедленная съёмка, чтобы повторять его снова и снова. Взгляд с высоты птичьего полета и замедление в совокупности создают обманчивое впечатление простоты движений, которыми якобы легко могут овладеть все желающие зрители. Увы, ни один игрок никогда не следит за игрой с вертолета или в замедленном режиме. И только когда изредка включается камера, снимающая игру с близкого расстояния на уровне пола и в реальном режиме, можно по-настоящему оценить сумасшедшую скорость и сложность игры, какой её и видят игроки, и все фантазии о лёгкости овладения подобным мастерством моментально улечиваются.

## Фрагмент 29. Политика исторических искажений

Ошибкой в военном деле будет спутать парад со сражением, в котором решается вопрос жизни и смерти.

Лев Толстой

Тенденция подчищать, упрощать и спрессовывать исторические события в удобную форму — это не только естественная склонность людей или необходимость, вызванная нехваткой места на страницах учебников. Это еще и часть политической борьбы, ставки в которой высоки.

Революция 1917 года в России, как и Великая Французская революция, была процессом, огромное множество участников которого не знали, чем всё обернется в итоге. Те, кто подробно изучил этот процесс, кое в чем между собой согласны — например, в том, что большевики очень мало сделали для того, чтобы революция началась. Как выразилась Ханна Арендт, «...большевики увидели, что власть лежит на дороге, и подняли её» [44]. События конца октября 1917 года характеризовались запутанностью и спонтанностью. Не ломают историки копий и по поводу того, что падение царской власти обусловили коллапс царской армии на австрийском фронте и последовавшее за этим массовое дезертирство солдат, спешивших поучаствовать в стихийных захватах земли. Они единодушны и в том, что рабочий класс Москвы и Санкт-Петербурга, даже не будучи удовлетворен условиями жизни и настроенный воинственно, всё же не планировал взять в свои руки заводы и фабрики. Наконец, почти никто из историков не спорит с тем, что накануне революции большевики почти не оказывали влияния на рабочие массы и совершенно не пользовались авторитетом у крестьян.

Однако после того, как большевики пришли к власти, они начали писать историю так, как будто не было никакой случайности, замешательства, спонтанности, не упоминая в своей версии событий множество других революционных групп. В «их» истории подчёркивалось предвидение, целеустремлённость и мощь партии авангарда. В соответствии с ленинскими идеями, изложенными в брошюре под названием «Что делать?», в качестве основных двигателей исторического процесса большевики рассматривали себя [45]. Учитывая, что их власть в 1917–1921 годах была очень непрочной, большевики были очень заинтересованы в том, чтобы убрать революцию с улиц в музеи и школьные учебники как можно быстрее, чтобы люди не вздумали повторить её ещё раз. В общем, они сделали всё, чтобы представить революционный процесс естественным следствием исторической необходимости, легитимизируя тем самым «диктатуру пролетариата».

«Официальная» версия истории революции была разработана едва ли не до того, как завершились её реальные события. Ленин представлял себе государство (и революцию) как хорошо смазанную машину, с военной точностью управляемую сверху, поэтому и последующие «воспоминания» о революции следовали этому образцу. Луначарский, культурный импресарио первых лет большевистской власти, придумал для огромного театра постановку, в которой четыре тысячи актеров, по большей части солдат, показывали 35 тысячам зрителей события революции, в соответствии со сценарием используя пушки, речные суда и имитацию с помощью прожекторов восходящего с востока солнца.

Большевики были крайне заинтересованы в том, чтобы театральное искусство, литература, кинематограф и историография говорили о революции как о чём-то, лишенном случайности, разнообразия и различия целей, характерных для настоящей революции. После того, как умерло поколение, пережившее революцию и знавшее о ней не понаслышке, сопоставить свой личный опыт с официальной версией и найти нестыковки никто уже не мог, а значит, возобладала официальная версия.

Таким образом, революции и общественные движения обычно задействуют множество персонажей, каждый из которых преследует собственные цели, радикально отличающиеся от целей прочих участников и смешанные с большим количеством ярости и ненависти; персонажей, мало понимающих, как обстоят дела за пределами их непосредственного окружения; персонажей, подверженных влиянию случайностей вроде проливного дождя, слухов или ранений. И вместе с тем результирующий вектор этой какофонии событий даёт питательную среду для того, что позже назовут революцией. Революции редко или вообще никогда не бывают делом рук сплоченных организаций, направляющих, как предполагал ленинский сценарий, свои «воинства» к определённой цели.

Обязательным элементом сценарной продукции авторитаризма является изображение порядка и дисциплины. Несмотря на голод в сельской местности, недостаток пищи в городах и массовое бегство населения в Китай, Ким Чен Ир умудрялся организовать грандиозные парады, в которых участвовали десятки тысяч человек, что должно было означать единство народа, движущегося в унисон туда, куда указывает жезл «Дорогого Руководителя» (рис. 6.1). Такая форма театрального бахвальства сложилась очень давно. Её можно обнаружить в «массовках», которые в начале XX века для демонстрации собственной силы и слаженности на больших стадионах организовывали и социалистические, и правые партии. Отлично и точно скоординированные движения тысяч одинаково одетых гимнастов создавали ощущение синхронной силы и, конечно же, ее управления всевластным, но невидимым дирижером.

Великолепие символического порядка наглядно проявляется не только в публичных церемониях вроде коронаций или первомайских демонстраций, но и в самой архитектуре общественных пространств — площадей и проспектов, скульптур и арок. Сами здания порой спроектированы так, чтобы ошеломлять население размерами и потрясать великолепием. Зачастую они похожи на шаманские камлания и выступают в качестве противовеса реальности, которую можно назвать какой угодно, только не упорядоченной. Примером такой архитектуры является Дворец Парламента в Бухаресте, который в 1989 году — в год падения режима Чаушеску — был завершён на 85%.

Своими круговыми балконами и помостом для Чаушеску в центре зала, который поднимался с помощью гидравлического привода, «Законодательное собрание» напоминало оперный театр. Шестьсот часов, находившихся в здании, управлялись централизованно с помощью консоли, расположенной в кабинете президента.

Большая часть усилий официальной власти в сфере символов направлена именно на то, чтобы окружить путаницу, беспорядок, спонтанность, ошибки и импровизации, которые на самом деле составляют сущность любой политической власти, идеально гладкой, как



бильярдный шар, поверхностью порядка, рассудительности, разумности и контроля. Я представляю это себе как «миниатюризацию порядка». Мы все знакомы с этим по миру игрушек. Огромный мир войн, семейной жизни, машин и дикой природы — это опасность, которую ребенок не может контролировать. Однако он может сделать этот мир безопасным, сделав его маленьким: так появляются игрушечные солдатики, кукольные домики, миниатюрные танки и самолёты, модели железных дорог и маленькие садики. Примерно такой же логикой руководствуются создатели образцовых деревень, демонстрационных проектов, образцовых домов и колхозов. Проводить эксперименты в малом масштабе, при которых последствия неудач будут менее катастрофичны — без сомнения, грамотная стратегия социальных инноваций. Однако я подозреваю, что чаще такие демонстрационные проекты создаются именно напоказ, заменяя собой более существенные и масштабные изменения, и что они являют собой бережно хранимый микропорядок, спроектированный в большой степени ради того, чтобы зачаровывать и правителей (самогипноз?), и широкую общественность потемкинским фасадом централизованного порядка. Чем сильнее распространены эти маленькие «островки порядка», тем больше оснований подозревать, что они были возведены, чтобы спрятать от посторонних глаз неофициальный социальный порядок, неподконтрольный элитам.

Сжатость исторического повествования и наше стремление очистить его от деталей, выпадающих из общей канвы, а также потребность власти создать ощущение, будто у неё всё под контролем и у всего есть своя цель, приводят к появлению у нас ложного впечатления о причинно-следственных связях в истории. Такое восприятие мешает нам видеть, что большинство революций — не результат деятельности революционных партий, а итог спонтанных действий и импровизации (говоря марксистским языком, «авантюризма»), что организованные социальные движения — это не причина, а результат нескоординированных демонстраций протеста, и что грандиозные достижения в сфере прав и свобод человека происходят не благодаря упорядоченным, институциональным процедурам, а в результате беспорядочных, непредсказуемых и спонтанных действий, исподволь разрушающих прежний социальный порядок.

# Примечания

Фред Аппель из Издательства Принстонского университета (Princeton University Press) проявил недюжинное терпение, помогая и направляя мой эксперимент по написанию книги в свободном стиле. До того я и не думал, что в наше время в издательствах могут проявлять такую внимательность и давать столь ценные советы. Коллеги Фреда — Сара Дэвид и Дебора Тегарден — очень помогли в подборе иллюстраций к тексту.

[1] Очень редко, но встречаются организации, сочетающие определённый уровень добровольной координации и уважение и даже поощрение местной инициативы. Примерами этому могут служить «Солидарность» в Польше времен военного положения и студенческий «Координационный комитет против насилия» эпохи борьбы за гражданские права афроамериканцев в США. Обе эти организации появились только в результате протеста и борьбы.

[2] Frances Fox Piven and Richard A. Cloward. *Poor People's Movements: Why They Succeed, How They Fail*. New York: Vintage, 1978.

[3] Милован Джилас. *Новый класс*. Нью-Йорк: Изд-во Фредерик А. Прегер, 1957.

[4] Colin Ward. *Anarchy in Action*. London: Freedom Press, 1988, 14.

[5] Pierre-Joseph Proudhon. *General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century*, trans. John Beverly Robinson. London: Freedom Press, 1923, 293–94.

[6] John Dunn. Practising History and Social Science on “realist” assumptions. In: *Action and Interpretation: Studies in the Philosophy of the Social Sciences*, ed. C. Hookway and P. Pettit. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, 152, 168.

[7] Для объяснения причин неудачи, которую потерпело всеобщее избирательное право в деле установления власти рабочего класса, Грамши разработал концепцию «культурной гегемонии». См. Антонио Грамши. *Тюремные тетради Антонио Грамши*. М.: Политиздат, 1991.

[8] «Поездки за свободу», акции протеста, в ходе которых борцы за гражданские права ездили на межрегиональных автобусах, чтобы добиться реализации решения суда о признании сегрегации в общественном транспорте неконституционной.

[9] Taylor Branch. *Parting the Waters: America in the King Years, 1954–63*. New York: Simon and Schuster, 1988.

[10] Респонсорный — форма взаимодействия между выступающим и аудиторией, когда высказывания (призывы) говорящего перемежаются с ответами слушателей (англ. — call-

and-response) — прим. пер.

[11] Ян Юнсян (Yan Yunxiang), в беседе с автором этой книги.

[12] S. Kenneth Boulding. The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics. In: American Economic Review 58, nos. 1/2 (March 1966): 8.

[13] Индеец, который помог первым американским колонистам («отцам-пилигримам») пережить зиму 1620–1621 годов в Новом свете. В память о помощи, оказанной Сквонто, в США празднуется День благодарения.

[14] Эрнст Шумахер. Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение. М: ГУ ВШЭ, 2012.

[15] Edgar Anderson. Plants, Man, and Life. Boston: Little, Brown, 1952, 140–141.

[16] Colin Ward. Anarchy in Action. London: Freedom Press, 1988, 92. Все примеры с игровой площадкой взяты из введения к главе 10 указанной книги, с. 89–93.

[17] Алексис де Токвиль. Демократия в Америке. М: Весь мир, 2001.

[18] Стенли Милгрэм. Подчинение авторитету. Научный взгляд на власть и мораль. М: Альпина нон-фикшн, 2018. Филип Зимбардо. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. М: Альпина нон-фикшн, 2018.

[19] См., например, <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533248/Is-this-the-end-of-the-road-for-traffic-lights.html>.

[20] Пол Эврич. Восстание в Кронштадте. 1921 год. М: Центрполиграф, 2007.

[21] Вайсберг (Vaisberg), из речи, произнесённой в 1929 году и процитированной в R. W. Davies. The Socialist Offensive: The Collectivization of Russian Agriculture, 1929–1930. London: Macmillan, 1980, 175.

[22] Александр Чаянов. Организация крестьянского хозяйства. Екб.: Деловая книга, 2015.

[23] Henry Stephens Randall. Cultivators. In: The Life of Thomas Jefferson. New York, 1858, I, 437.

[24] Barrington Moore, Jr. Injustice: The Social Basis of Obedience. Arfmonk, NY: M. E. Sharpe, 1978.

[25] Steven H. Hahn. The Roots of Southern Populism: Yeoman Farmers and the Transformation of the Georgia Upcountry. Oxford: Oxford University Press, 1984.

[26] См., например, All Ludke. Organizational Order or Eigensinn? Workers' Privacy and Workers' Politics in Rites of Power, Symbolism, Ritual and Politics since the Middle Ages, ed. Sean Wilentz. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985, 312–344; Miklos Haraszti. Worker in a Workers

State. Harmondsworth: Penguin, 1977; и Ben Hamper. Rivet Head: Tales from the Assembly Line. Boston: Warner Books Inc., 1991.

[27] M. J. Watts and P. Little. Globalizing Agro-Food. London: Routledge, 1997.

[28] См., напр., предположение Мишеля Крозье, что даже в крупных бюрократических организациях поведение определяется «настойчивостью индивида в утверждении своей автономии и отказом его вступать в отношения зависимости». Цит. по Michel Crozier. The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press, 1964, 290.

[29] Barrington Moore. The Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, 1966. См. также великолепную монографию E. P. Thompson. The Making of the English Working Class. New York: Vintage, 1966.

[30] Есть и иные формы социального вклада мелкой буржуазии, заслуживающие упоминания вне зависимости от вашего оттенка политического спектра. Мелкая торговля и мелкотоварное производство исторически были двигателем рыночной интеграции. Если в каком-либо месте обнаруживается нехватка какого-нибудь товара или услуги, обещающих хорошие барыши, то мелкая буржуазия обычно найдёт способ доставить туда всё, что нужно. Для Милтона Фридмана и подобных ему рыночных фундаменталистов то, что делает мелкая буржуазия — это божье дело. Она действует в обстановке практически идеальной конкуренции; живость и быстрота, с которой мелкие буржуа отвечают на незначительные колебания спроса и предложения, близка к идеальному представлению об идеальной конкуренции в рамках неоклассической школы экономики. Норма прибыли у них невелика, они часто терпят фиаско, но всё же в совокупности их деятельность приводит к оптимуму Парето. В целом, мелкая буржуазия довольно близко подходит к этому идеалу. Они предлагают необходимые товары и услуги по конкурентным ценам и с быстротой, которая недоступна более крупным и неповоротливым компаниям.

[31] Я пишу «возможно», потому что в середине XX века в некоторых крупных компаниях, таких как «Эй-Ти-энд-Ти» (Лаборатории Белла) (AT&T (Bell Labs)), «Дюпон» (DuPont) и «Ай-Би-Эм» (IBM), существовала исследовательская культура, которая позволяет признать, что крупные компании необязательно по своей сути враждебны инновациям.

[32] Джейн Джекобс. Смерть и жизнь больших американских городов. М: Новое изд-во, 2015.

[33] Atlanta's Testing Scandal Adds Fuel to U. S. Debate. In: Atlanta Journal Constitution, July 13, 2011.

[34] Автор писал книгу в 2012 году — прим. пер.

[35] C. A. E. Goodhart. Monetary Relationships: A View from Threadneedle Street. Papers in Monetary Economics. Reserve Bank of Australia, 1975.

[36] Theodore Porter. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995, 43.

[37] Лоррейн Дастон. Объективность. М: Новое литературное обозрение, 2018.

[38] Термин «меритократия» был впервые использован в конце 1940-х гг. англичанином Майклом Янгом (Michael Young) в его антиутопии *The Rise of the Meritocracy, 1870–2033: An Essay on Education and Inequality* (London: Thames & Hudson, 1958), где говорилось об отрицательных последствиях для рабочего класса, если правящие элиты будут избираться на основании коэффициента интеллекта.

[39] Theodore Porter. *Trust in Numbers*, p. 194.

[40] Где проходит граница между оправданным использованием количественных показателей, с помощью которых достигается прозрачность, объективность, демократический контроль и равные возможности для всех, и чрезмерным использованием этих показателей, которые подменяют собой политическую дискуссию и препятствуют решению о выборе правильного политического курса? Безусловно, мы не можем утверждать, что любое официальное использование методов аудита является неправильным и ненужным. Однако нам нужно найти способ отличать оправданное использование количественных показателей от опасного. Когда мы видим аудиторские или иные количественные показатели, мы должны задать себе несколько вопросов. Например, вопросов, касающихся тех опасений, которые я высказал ранее: в частности, о наличии или отсутствии валидности конструкта, о возможности «антиполитики» и об опасности колонизации дискурса, или о недостаточности обратной связи. Таким образом, мы, граждане, должны спросить себя: а. Каково соотношение между предлагаемым количественным показателем и конструктом, т. е. явлением окружающего мира, которое он должен измерять? Например, достаточно ли точно результаты ЕГЭ характеризуют способности ученика и его право продолжить учёбу в вузе? б. Не имеет ли данный количественный показатель скрытой политической подоплёки? Например, не были ли система деления Вьетнама на районы и метод подсчёта военных потерь попытками затушевать дискуссию в американском обществе касательно того, имела ли война во Вьетнаме смысл, и можно ли было в ней победить? с. Какова вероятность колонизации или произвольной подтасовки индекса, например, путём подачи недостоверных или неполных отчётов, либо искажений, возникающих при обратной связи, или предрассудков по отношению к неким важным задачам? Например, не приводит ли повсеместное использование индекса научного цитирования в американских университетах к публикации некачественных статей или тому, что «кукушка цитирует петуха лишь за то, что он цитирует кукушку»? Короче говоря, я не собираюсь нападать на количественные методы ни в высшей школе, ни в госсекторе. Но нам действительно необходимо лишить цифры покровы тайны и ореола святости. Нужно настаивать на том, что они не всегда отвечают на поставленный вопрос. Нам также нужно осознать, что споры о распределении дефицитных ресурсов относятся к сфере политики, а не к чисто техническим решениям. Мы должны спросить себя, к чему приведёт использование количественных показателей в данном контексте — к прогрессу или регрессу в политических дискуссиях, и поможет ли оно достичь наших политических целей или наоборот, воспрепятствует этому.

[41] François Rochat and Andre Modigliani. *The Ordinary Quality of Resistance: From Milgram's Laboratory to the Village of Le Chambon*. In: *Journal of Social Issues* 51. No. 3 (1995): 195–210.

[42] Музей Холокоста в Вашингтоне делает акцент на индивидуальности, выдавая каждому посетителю карточку с фотографией еврея, судьбу которого посетитель узнаёт только в конце экспозиции.

[43] Большинство из этих мемориальных досок появились не по инициативе государства, а стараниями небольших групп граждан Германии, которые понимали, как важно запечатлеть в коллективной исторической памяти историю нацизма в их краях. Хотя в целом они менее трогательны, чем экспозиция в Мюнстере, в сравнении с Соединёнными Штатами они всё же выглядят выигрышно — там крайне редко можно увидеть мемориальную доску-напоминание о том, что «На этом месте торговали рабами», или «Помните о Вундед-Ни и Дороге слёз», или «Здесь проводились печально известные эксперименты Таскиги».

[44] Ханна Арендт. О революции. М: Европа, 2011.

[45] Сочинения Ленина в этом вопросе неоднозначны: с одной стороны, он приветствует спонтанность, но в основном считает «массы» сырьём революции, наподобие кулака, а партию авангарда — мозгом, генштабом, использующим силу масс для получения наилучшего результата.